

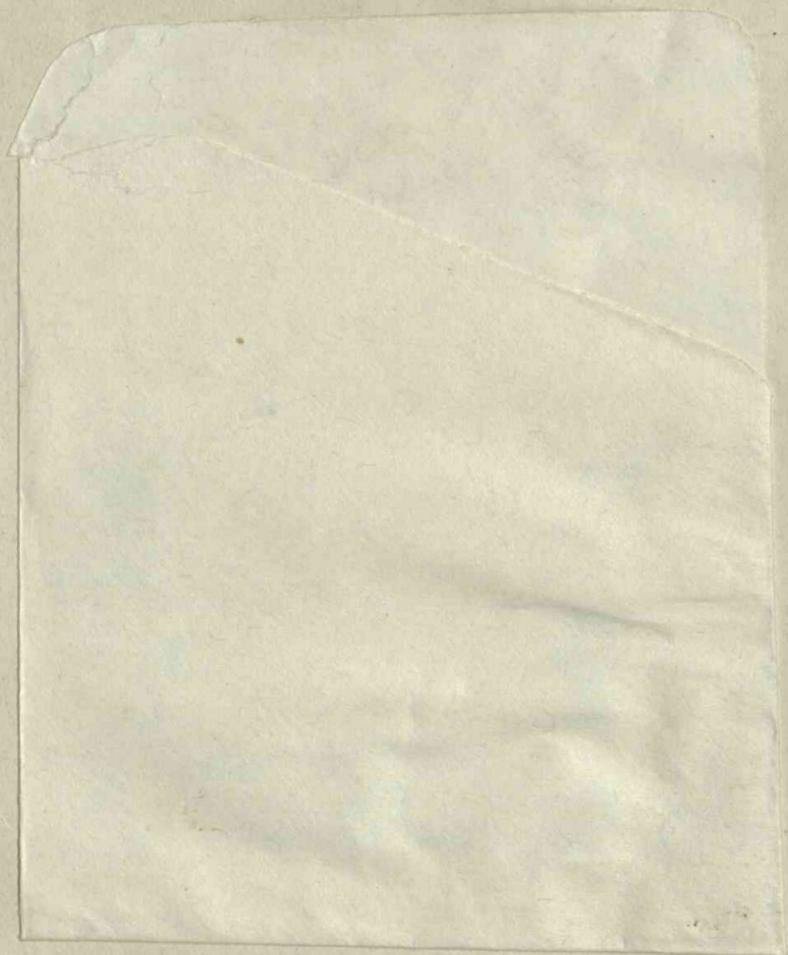
КрД
Н 731

А. Н О В И К О В - П Р И Б О Й

КАПИТАН
I-ГО
РАНГА

РОМАН

изд
Гослитиздат
1943



ISBN 5-110-17P-KA/43

el

198
Р2
Н231
А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ



КАПИТАН

Е-ГО

РАБФА



РОМАН

В дар Рязанской областной
Библиотеке последняя
прижизненная книга
моего отца март 1972
О Г И З

И. Новикова

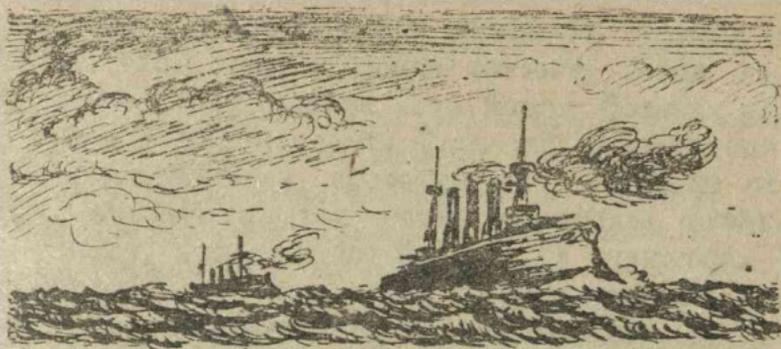
Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1943

М-1384055

Редактор С. Горский

Подписано к печати 4/XI 1943 г. А2654. Тираж 25000 экз.
6 печ. л., 8,4 уч.-авт. л. Зак. № 4994. Цена 4 руб.

1-я Образцовая типография треста «Полиграфкнига»
ОГИЗа при СНК РСФСР. Москва, Валовая, 28.



Часть первая

I

Захар Псалтырёв, о необыкновенной истории которого я хочу рассказать, с новобранства находился со мною в одном взводе. Мы были с ним одинакового роста и поэтому, выстраиваясь на дворе флотского экипажа для маршировки, становились рядом. Он был моим соседом и по жилому помещению. На третьем этаже большого кирпичного корпуса, в одной из четырёх камер, занимаемых нашей ротой, койка Захара Псалтырёва стояла третьей от моей. Таким образом, я имел возможность наблюдать за ним днём и ночью.

Помню, в экипаж он явился в домотканом коротком зипунишке, в облезлой заячьей шапке, в лаптях, с небольшим сундуком за спиной. Засунув сундук под койку, он уселся на неё, снял с кудрявой тёмнорусой головы шапку и распахнул зипун. Потом пытливо оглядел большими серыми гла-

зами камеру. Длинная, она вмещала в себе более сорока коек, расставленных в два ряда, причём между каждой парой коек возвышалось по шкафу. На продольной фасадной стене висели в рамках какие-то правила для матросов, изображения золотых погон флотских чинов, патриотические лубочные картины. С другой поперечной стены, из посеребрённого киота, строго смотрел на людей покровитель моряков — Николай-чудотворец. Лицо Псалтырёва, обескровленное деревенской нуждой, на момент приняло выражение беспредельной тоски. Но сейчас же он расправил, словно от усталости, широкие крутые плечи и, потряхнув кудрявой головою, промолвил:

— Ну, ладно! Начало сделано. Остаётся немного — только семь лет прослужить.

Кто-то из новобранцев посмеялся над ним:

— Что ж это ты явился во флот в таком наряде?

Псалтырёв, не смущаясь, ответил:

— А для чего мне другой наряд? Казённое добро получу, — защеголяем.

Мы все были подстрижены нолевой машинкой. На второй день нас сводили в баню. Недели через две мы все оделись в одинаковую флотскую форму.

За это время мы перезнакомились друг с другом. Мы уже о многих знали, откуда кто пришёл, какая семья у него осталась, знали, кто женат и кто холост и чем занимался дома. По праздникам у нас учений не было, но в город всё равно никого не отпускали. Приходилось сидеть в камере и скучать.

Прошло две недели, как мы поселились во флотском экипаже, а некоторые новобранцы всё ещё с завистью относились к тем, которые по каким-либо причинам были забракованы приёмоч-

ной комиссией. Тут же вспоминались разные случаи.

Захар Псалтырёв, прислушиваясь к разговорам, долго молчал, а потом заявил:

— А я очень рад, что попал на службу.

Говорившие повернули к нему головы и с удивлением уставились на него.

— Что дома ел? Квас с картошкой, квас с редькой да постные щи. А здесь скоромным супом кормят и кашу дают. Я сам напросился во флот. В нашем селе Хрипунове никакой речушки нет. Воду можно увидеть только в колодцах и в лужах во время дождя. Одно лето мне всё-таки подвезло. Работал батраком на Оке. Это будет от нас вёрст сто. Там и плавать научился и пароходы повидал. А теперь моря и океаны увижу. И уж очень мне хочется узнать, как военные корабли устроены. Может, какой-нибудь специальности обучусь.

— Чорт с ней со специальностью, лишь бы дома осгаться! — сказал один из новобранцев.

Псалтырёв строго посмотрел на него:

— Если так каждый будет рассуждать, то мы без армии и флота останемся. А тогда другие государства раскромсают всю нашу Россию по частям и приберут к своим рукам. Хорошо будет?

Он улыбнулся и заговорил, как гуляли «забрятые».

— Эх, и закуролесили мы напоследок! Дым ко-ромыслом стоял! И говядинки поели. Известное дело — все родители режут для рекрутов живность. Так уж исстари повелось. И моя мать тоже сделала. Были у нас три курицы и петух. Пожалела она курицу: яйца, мол, будет нести. Взяла да и отрубила голову петуху. Такого красавца больше не найти. Сильный, пером огненный. За-

поёт, бывало, — на всю волость слышать. А на счёт драки — во всем селе ни один не мог против него устоять. На спор я на нём целковых пять выручил. Вот до чего жалко такого петуха! Лучше бы мать овцу зарезала.

Время шло, но мы, несмотря на молодость, чувствовали себя подавленными. До рекрутчины у каждого из нас была какая-то своя особая жизнь, свои занятия, родственники, друзья, знакомые. Почти до двадцати двух лет, начиная с детства, мы жили — одни в городах, другие в деревнях, — привязанные к привычным условиям. И вдруг связь с прошлым оборвалась, и наша жизнь должна продолжаться в новой обстановке. Нас пугали стены казармы. Мы ложились спать по приказу начальства, вставали утром под игру горнистов и грехот барабанов. Без разрешения фельдфебеля мы не могли завтракать, обедать, ужинать. Инструкторы оглушали нас бранью, а мы вытягивались перед ними, выслушивая их грубые наставления. Если у кого из нас был слабо подпоясан ремень, то инструктор сам затягивал его, до боли нажимая коленом на живот. Казалось, что мы перестали принадлежать самим себе, перестали быть людьми. Всё первоначальное учение сводилось к тому, чтобы в новобранцах заглушить самостоятельную мысль и превратить их в послушные и нерассуждающие автоматы. Многие из нас старались заглянуть вперёд — что же будет дальше? И служба нам рисовалась нудной, как осенняя слякоть, и невероятно длинной, как этапная дорога через Сибирь.

Не унывал только Псалтырёв. Его серые глаза, роговицы которых были усыпаны маленькими, как маковые зёрна, сияющими точками, смотрели на всё с жадностью, — так хотелось ему скорее разобратся в новой жизни. Каждое движение его было

неторопливо и рассчитано. А месяца через полтора он стал выявляться перед нами как исключительно даровитый человек. В самых простых вещах он видел намёки на что-то интересное, чего другим было невдомёк. Всем людям, например, свойственно летнею порою любоваться цветами. А Псалтырёв не только любовался, как все, но и более глубоко над этим задумывался. И в беседах с новобранцами у него возникали самые неожиданные, озадачивающие товарищей, мысли.

Однажды после занятий, утомлённые, мы расположились на койках. Один из новобранцев утирался носовым платком. Увидев на нём вышитые васильки, Псалтырёв спросил:

— Цветы, должно быть, любите?

— Невеста на прощание подарила, — ответил тот.

— Ах, цветики-цветочки! Они для меня загадка.

Псалтырёв оглядел всех и продолжал:

— Помню, оставался у меня на огороде квадратный аршин свободной земли. И посадил я на нём разные цветы. Почва была одинаковая, одинаково на неё светило солнце и одинаково орошали дожди. А почему-то рядом росшие былинки зацвели все по-разному. На одном и том же месте пестрели красные, синие, жёлтые, розовые цветки. Откуда же, спрашивается, берут они свои, особенные краски? С неба, что ли, или из земли? Ведь каждый из вас и на лугах видел то же самое.

Вопрошающим взглядом Псалтырёв обвёл присутствующих, но в ответ на него уставились одни недоумевающие лица. И мнение всех выразил один новобранец, огромного роста и могучего телосложения. Почесав стриженный затылок, верзила мрачно пробасил:

— Вот чорт! Какой дотошный!

— Чудно, правда, получается. Откуда у травы такие расцветки? — отозвался другой тоненький голосок сзади.

— Как будто какой-то невидимый художник так их разукрашивает, — добавил самый грамотный из нас.

На минуту все задумались.

А у Псалтырёва уже готов другой вопрос:

— Или вот ещё сохатый. Ну, чем этот лось-бык питается? Травы, прутики, кора и хвоя. Пища мягкая, а рога-то какие у него бывают — твёрдые и крепкие, словно камень. Зимой сбросит, а за год они опять у него вырастают да ещё на один отросток прибавятся. Как и отчего каменеют рога — тоже непонятно. А ведь, наверное, есть такие учёные люди, которые всё знают. Хорошо бы с таким знатоком поговорить. Спросил бы я его ещё о желудке. Всякую снедь он в животе переваривает, а сам остаётся цел, словно чугунный. Просто диву даёшься, как это он вместе с пищей сам себя не переварит. А попади он в другой желудок — тоже переварится. Вот тебе и чугун!

Так Псалтырёв огорошивал нас многими странными вопросами, разрешить которые не были в состоянии ни мы, ни он сам. Его любознательность удивляла товарищей. Без устали он допытывался узнать обо всём, стремился проникнуть в самую суть окружающих вещей. Малограмотность не мешала ему знать много песен, былин, сказок. У него была необыкновенная память. Говорил он складно, пересыпая свою речь пословицами и неожиданными сравнениями. Приходили послушать его и новобранцы из других камер. Своими сказками он отрывал нас от гнетущей действительности и уносил в мир фантазий и необыкновенных приключений. Собиравшиеся вокруг него люди то

слушали, затаив дыхание, то раздражались молодым, задорным смехом, в зависимости от того, что он рассказывал.

II

Однажды вечером, после словесных занятий, инструктор Храпов подозвал к себе новобранца Филатова, дал ему пять копеек и тихонько сказал:

— Сбегай в лавочку и купи для меня фунт колбасы.

Филатов, не поняв в чём дело, робко заявил:

— Господин обучающий, фунт колбасы стоит восемнадцать копеек.

Инструктор рассердился.

— Чубук! Исполни́й то, что я тебе приказал! И прине́сёшь мне гривенник сдачи!

Озадаченный Филатов рассказал об этом другим новобранцам.

— Брось ты этот пятак в его поганое рыло! — посоветовал ему Псалтырёв.

Но все начали возражать против такого совета:

— Ну и пойдёт Филатов под суд. Хоть инструктор и маленький, а всё же начальник. А начальник всегда останется прав. Этот его приёмчик уже давно известен.

— Да, это, пожалуй, верно, — согласился Псалтырёв. — Если часы врут, то всегда бывает виновата минутная стрелка.

У Филатова навернулись слёзы. Ведь те двадцать три копейки, которые он на этой покупке должен был потерять из собственного кармана, равнялись почти половине его месячного жалованья. Но он скрепя сердце побежал в лавочку. Мы разговорились о жадности инструктора, а через минуту уже все слушали только одного Псал-

тырёва, у которого на всякий житейский случай был свой пример.

— Чей в селе лучший дом стоит рядом с церковью? Ну, известное дело, — попа. Тот поп, о котором я хочу рассказать, был жадности непомерной. Вставал он раньше всех и будил своего работника и работницу, чтобы не ели они даром хлеба. Как-то в субботу он поднялся с кровати на заре и взглянул в распахнутое окно. Тихо. Село ещё спит. Только один кривой мужичок, по прозвищу Свят-свят, хитрый-прехитрый человек, суетится что-то около поповского колодца. А прозвали этого мужичка потому так, что он был заугольшем и будто бы родился от вдового дьякона. Таращит батюшка глаза на колодец и не верит самому себе. Что же это такое происходит? Не дьявольское ли это наваждение? Или это всё представляется ему во сне? Подёргал поп себя за сивую бороду, ущипнул уши — больно. Стало быть, это не во сне. А с другой стороны, разве не диво, что мужичок ловит удочкой рыбу в колодце? Из окна хорошо видно, как она трепещется, когда Свят-свят вытаскивает её наверх. Спешно натягивает поп штаны на ноги, набрасывает подрясник на плечи и выходит на улицу. Ещё издали кричит мужику:

— Ты что тут делаешь?

— Карасей ловлю, — отвечает кривой мужичок и целится одним глазом на попа.

— Откуда же могут быть тут караси?

— Значит, бог послал.

Подходит поп ближе и смотрит в ведро, а в нём действительно штук двадцать живых золотистых карасей. Все как на подбор — по фунту в каждом будет. От зависти он даже задрожал. А Свят-свят вытаскивает удочкой из колодца ещё одного карася и говорит:

— Теперь хватит с меня на уху.

Набросился поп на кривого мужичка за то, что наловил он рыбу в чужом колодце: хотел отнять у мужичка добычу, а тот угрожает:

— Вот расскажу людям, что в твоём колодце караси водятся. Придут они и всю рыбу выловят. А её тут, надо думать, пудов двадцать будет.

Отступил батюшка и просит никому об этом не говорить. Свят-свят ушёл. А батюшка потом целый день провёл в хлопотах: то удочки бегал искать, то лёсы готовил, — для этого ему пришлось вырвать волосы из хвоста своей кобылы, — то удилица приспособлял. А сам всё время думал, как завтра, в праздник, попадья нажарит ему карасей в сметане и с каким аппетитом он будет их кушать. А у матушки в этот день случилось большое горе. Знала она, что её батюшка любит водку, настоенную на чёрной смородине. А делала она это хорошо: сначала на ягодах настаивала спирт, а потом разводила его водой на любую крепость. И вот попадья приготовила такой настойки целое ведро, процедила её сквозь сито и разлила по бутылкам. Но что делать с оставшимися ягодами? Попробовала их есть — горькие. Спиртом они пропитались. Как ни жалко было попадье, а пришлось ей эти ягоды выкинуть во двор. А там ветерком их продуло — перестали они пахнуть спиртом. Первым наткнулся на них петух. Проглотил он одну ягоду, другую — ничего. И давай созывать всех своих жён. А их у него было более двадцати штук. Набили он свои зобы наспиритовавшимися ягодами и захмелели. Веселие пошло среди них небывалое: петух качается и всё время поёт, куры кудахчут и тоже качаются. Некоторые из них заспорили между собой и пустились в драку, — может быть, из ревности к петуху. Другие уже на боку лежали, а продолжали

голосить. Словом, закуролесили птицы, точно пьяные люди в трактире. Потом одна за другой начали замолкать, и все подохли.

Попадья до того расстроилась, что прямо волосы на себе рвёт. Какой убыток! И кушать кур нельзя — дохлые. Приказывает она кухарке ощипать их, чтобы хоть не пропали перья. Та сделала своё дело, сложила птичьи тушки в переулочек и крапивою прикрыла. Забоялась, что на дворе они могут загнить и нехорошо будет пахнуть. А в переулочке, авось, за ночь собаки растащут их.

Случилось это вечером под воскресенье. Попничего не знал о курах и всю ночь думал только о карасях. Встал он на заре, осмотрел всё вокруг двора, не подглядывает ли кто, и пошёл к колодецу. А кривой мужичок Свят-свят встал ещё раньше и побежал по селу. Будит он народ и говорит каждому:

— Наш батюшка с ума спятил.

— А ты откуда об этом проведал? — спрашивают его.

— Удочкой ловит рыбу из своего колодеца. Кто же в здравом уме будет это делать?

Взбаламутились мужики и бабы и заторопились к поповскому дому. Кто из-за угла, кто с огорода, смотрят они на своего батюшку. А тот действительно запускает в колодец удочки. Никаких карасей, конечно, там не было. Ведь кривой мужичок Свят-свят наловил их в озере, а не в колодеце. Надул он попа. Долго батюшка возился с удочками и с досады плевался: хоть бы одна малёккая рыбёшка попалась. Заметил он, что мужики и бабы глазеют на него, сконфузился и побежал в свои хоромы.

Скоро заиграл на рожке пастух, и со всех дворов стали выгонять скотину. Бабы высыпали на улицу, и тут уже все, от малого и до старого,

узнали, что поп свихнулся. Когда заблаговестили к заутрене, весь народ повалил в церковь, чтобы посмотреть, что будет делать взбесившийся поп. Но в этот день никто не попал в божий храм. Около него началось что-то невиданное. Оказалось, что поповские куры не сдохли, а были только пьяными до бесчувствия. Ну, так же, как это бывает с человеком, — другой напьётся водки до того, что пластом лежит и еле-еле дышит. А у кур кто же заметит дыхание? И вот эти «дохлые» птицы за ночь отрезвели и воскресли из мёртвых. Вот тут-то и пошла потеха. Петух не узнаёт своих жен, куры не узнают своего мужа и своих подруг. Ведь им никогда не приходилось видеть себе подобных голыми, без единого перышка. В испуге, с криком шарахаются они друг от друга в разные стороны, словно тоже спятили с ума. А народ животики надрывает от смеха, улюлюкает. Попадья приказывает работнику и работнице переловить кур и порезать их. Да разве такую уйму скоро переловишь? Про церковь все забыли. Тут уж не до неё, коли на улице такое представление идёт, какого не увидишь ни в одном цирке. Церковный сторож сказал об этом попу. Тот прямо в ризе и с кадилом в руке выскочил на паперть. Как глянул он, что делается на улице, глаза у него на лоб полезли: визг, хохот, крики, голые куры туда и сюда мечутся, а за ними его работник и работница гоняются изо всей мочи. Перекрестился поп и понёсся прямо в ризе к себе домой. А кривой мужичок Свят-свят кричит ему вслед: — Подожди, батюшка! Давай карасиков в колоде половим!

До самого полдня народ не расходился и даже вспотел от хохота.

Наконец всех кур зарезали. Но что с ними делать дальше? В погребу у попа не было снега, а

так они могут протухнуть. Батюшка с матушкой надумали зажарить сразу всех кур и от жадности так наелись, что оба заболели животами. А народ уверился, что не только поп, но и попадья сошли с ума. С той поры перестали ходить в церковь. Решили, что через такого попа никакая молитва не дойдёт до бога.

После того, как новобранцы посмеялись, я спросил Псалтырёва:

— Откуда, Захар, ты столько знаешь сказок и песен?

Он охотно объяснил:

— От бабушки. Она первая сказочница на селе. И плакальщицы такой нигде не сыскать. Её на свадьбы часто приглашают — поплакать по невесте. Вот уж начнёт причитать — кажется, камни прослезятся.

— А почему фамилия у тебя церковная? Отец у тебя не псаломщик?

Захар Псалтырёв усмехнулся:

— Почти что... Когда-то он мог железную чергу скрутить, как верёвку. Да простудился, ревматизм нажил себе. С клюкой стал ходить. Работать ему стало не под силу. Приспособился он псалтыри по покойникам читать. Вот и дали ему прозвище — Псалтырёв. А писарь, истукан, и меня по уличной кличке записал. А ведь как говорится: дурак завяжет — и умный не развяжет.

Подумав немного, Захар добавил:

— Жаль отца. Трудно теперь ему без меня. Всё хозяйство теперь лежит на матери да на младшей сестрёнке. А человек он с головой. Сам научился грамоте и меня научил. Сначала я мог только по-славянски читать. Потом мне попался оракул и сонник. Вот по ним-то я научился и дру-

гие книги читать, то есть не церковные. Только мало их у нас в селе, книг-то.

Захар был худ, но обладал такой широкой костью и такими мускулами, что с ним никто не мог бороться. Двухпудовой гирей он забавлялся, как мячиком, подбрасывая её до двадцати раз подряд выше головы и не давая ей упасть на землю.

Вскоре в нём обнаружилась ещё одна особенность: страсть перенимать всякое дело самоучкой. Товарищи по службе удивлялись, как ловко он подшивал им сапоги, не будучи никогда сапожником, перекраивал казённые брюки и фланелевые рубахи, прилаживая их под рост тех, кем они были получены. К любому замку он мог сделать новый ключ вместо потерянного, умел починить остановившиеся часы. А разобрать на части винтовку и снова собрать её для него ровно ничего не стоило. Это он мог бы сделать даже с завязанными глазами.

— Цепок на всякую работу! Золотые руки! — отзывались о Псалтырёве его товарищи.

— Вот бы такому парню да образование дать, — далеко бы он пошёл! — восхищались многие, глядя на то, как под складным ножом Псалтырёва простая деревянная чурка постепенно превращалась в модель корабля. Это было в недолгие часы отдыха.

Но ничего нельзя было изменить в те однообразно жуткие часы, когда до способностей Псалтырёва не было никому никакого дела. Большого начальства мы ещё не знали, а маленькое только калечило нас по-своему... Помимо старшего инструктора, нас обучал строевому делу его помощник, младший унтер-офицер Карягин. Такая фамилия никак не подходила к этому маленькому, рыжему, осыпанному веснушками человеку. Худой и мало-сильный, он вместе с тем обладал чрезвычайной подвижностью и беспокойным характером. Он ни-

кого же бил, но мучил нас до изнеможения. По его приказанию мы во время учений на дворе ложились в грязь. Иногда мы бегали по двору до тех пор, пока от нас, как от загнанных лошадей, не начинал клубиться пар. Всё это казалось нам лишним и ненужным, как было не нужно держать винтовку на прицеле до дрожи в руках.

Псалтырёв однажды сказал о Карягине:

— Такие же вот тощие бывают клопы в заброшенной избе. Поглядеть на них — одна шкурка осталась. Но не дай бог человеку к ним попасть — заедят.

Новобранцы зло посмеялись над таким сравнением, но кто-то из них передал об этом Карягину. Он стал придирается к нам ещё больше. В особенности доставалось Псалтырёву. В своей мести помощник инструктора всячески изощрялся над ним.

— У тебя нос не в порядке — прочисти!

Мы продолжали свои строевые занятия, а Псалтырёв, выделенный из взвода, стоял на отлёте и в продолжение десяти — пятнадцати минут громко сморкался. Это повторялось изо дня в день. Кроме того, Карягин придирался к нему, что он будто бы не умеет отдавать честь, и придумал для него особое учение. Он заставлял Псалтырёва проходить мимо столба, стоявшего во дворе, и козырять дереву, как офицеру. При нашем экипаже жил лохматый пёс из дворняжек, по кличке Триссель. Старый, с повреждённым позвоночником, он не мог уже бегать. Карягин становился в конце двора и манил Трисселя к себе. Пёс послушно шёл на зов, неуклюже расставляя задние ноги. Псалтырёв должен был идти ему навстречу и за три шага становился во фронт, словно перед адмиралом.

Карягин выкрикивал звонким тенором:

— Плохо, Псалтырёв! Отставить! Повтори!

И снова начиналась комедия, над которой, однако, никто из нас не смеялся. Это было выше нашего понимания, особенно после пространных разговоров на уроке словесности о высоком значении офицерского чина. Как же это так? Нам настойчиво внушали самое глубочайшее уважение к начальству вообще, а тут выходило наоборот: адмиральские почести воздавались какой-то паршивой собаке. В наши головы, забитые строжайшими правилами чинопочитания, Карягин своими выходками вносил сумятицу. Мы были наивны, и никто из нас не знал, что и подумать о таком, как казалось нам, кощунственном нарушении дисциплины.

III

Каждый из нас, будучи ещё в деревне, много понаслышался об Иоанне Кронштадтском. Слава о нём гремела по всей стране. Почти в каждой избе среди икон можно было увидеть его портрет. Этот священник заживо был зачислен в бесконечный сонм святых. О нём писали в газетах, а устная молва разносила, что он может изгонять из женщин бесов и вообще творить всякие чудеса. Был случай, когда буйно помешанный будто бы сразу же вылечился от одного только его благословения. Кроме того, он считался ясновидцем. Достаточно человеку лишь о чём-нибудь подумать, как он узнавал его мысли. В необыкновенную силу этого священника люди верили, ему молились, и каждый просил о своём: хворые — об исцелении от болезней, преступники — о прощении грехов, богатые — о ниспослании ещё большего богатства, бедные — об избавлении от голода, бесплодные — о рождении детей, нелюбимые — о любви. И как магометане в Мекку, так и православные со всех концов России тянулись в Крон-

М-1384055

штадт, чтобы присутствовать при богослужении отца Иоанна. От наплыва людей в этот город хорошо богатели хозяева гостиниц.

Иногда матросы назначались начальством для охраны священника. Выйти ему из боковой двери Андреевского собора и пройти до кареты, стоявшей за оградой, было очень трудным делом: богомольцы, бросаясь под благословение отца Иоанна, могли сбить его с ног. Вот здесь-то и требовалась помощь со стороны солдат или матросов. Они выстраивались в две шеренги, одна против другой, и, ухватив друг друга за руки, образовывали собою коридор. В такой коридор могли проникнуть только богатые люди, подкупив полную женщину Снигиреву, «батюшкину овцу», как она сама себя величала, или проворного белокурого псаломщика.

Старые матросы по этому поводу смеялись:

— Выходит, что без денег так же нету тебе божьей благодати, как и хорошей выпивки и закуски в трактире.

От них же мы узнали, что Иоанн Кронштадтский очень богатый человек. Ему шлют деньги со всех концов России. Секретарь его ежедневно ходит с большой кожаной сумкой на почту и получает там мелкие и крупные переводы. Правда, когда отец Иоанн едет в коляске, то разбрасывает нищим медные и серебряные монеты, но это всё делается больше для славы. Крупные суммы остаются при нём. Он имеет собственный дом, выезд и пароход. Какой же это святой? Вся эта критика, услышанная нами от старых матросов, сопровождалась страшной руганью.

Один из новобранцев нашего взвода, метко прозванный Стручком, был высок, тонок и сутул. Судя по его гибким и нежным рукам, он никогда не занимался физической работой. Во время мо-

литвы в роте он отличался большим усердием и, обладая хорошим баритоном, очень красиво пел. В его синих, как весеннее небо, глазах светились наивность и задушевная простота. Но за этими располагающими внешними признаками в нём скрывалась большая хитрость. Как только он заявился в экипаж, то первым делом подарил инструктору Храпову серебряные часы. Тот ко всем новобранцам относился с особой жестокостью, а к нему сразу же проникся любовью. У Стручка было много денег, и каждую неделю появлялись новые карманные часы. От родителей он ничего не получал. Откуда же у него такие доходы? И только поживши с ним, мы узнали, в чём дело. Это был мошенник-профессионал. С неподражаемой ловкостью он, как выражаются матросы, «запускал водолаза» в чужие карманы. Но, как волк не беспокоит скотины той деревни, вблизи которой он проживает, так и этот новобранец никогда не позволял себе обидеть кого-либо из своих людей. Наоборот — он старался всячески ублажать нас.

Под видом набожного человека он каждый праздник отпрашивался у инструктора в Андреевский собор, где обыкновенно отправлял своё богослужение Иоанн Кронштадтский. Храпов охотно отпускал Стручка. Мы оставались в роте и скучали. Как дети ждут ласкового отца с базара, зная, что он привезёт им подарки, так и мы с нетерпением поглядывали на дверь. Появление Стручка было для нас большой радостью. Он приносил карманные часы, бумажники, портмоне. Инструктор Храпов получал от него денежную награду. Не оставались и мы в обиде: для нашего взвода он покупал пуд баранок, полпуда колбасы, полведра водки, наделяя при этом каждого доброй горстью конфет. Новобранцы, изголодавшиеся на казённых харчах, с жадностью набрасывались на еду

и водку. Если у Стручка выручка была особенно солидной, то пиршество продолжалось два дня. Товарищи, подвыпив, хвалили его на все лады:

— Ты наш благодетель.

— Пошли, господи, многолетней жизни и тебе и отцу Иоанну.

— Без тебя, Стручок, где бы мы могли отве-
дать такое кушанье? Да ещё с выпивкой.

Стручок добродушно посмеивался, прищури-
в невинные синие глаза. Он жил среди нас аристо-
кратом. Всеми почитаемый, он выходил только на
учебные занятия, но никаких казённых работ не
выполнял и даже не стирал для себя бельё. Всё
это делали за него другие новобранцы. Инструктор
Храпов, пользуясь его подачками, во всём ему
потворствовал.

Однажды Псалтырёв спросил его:

— Не грех тебе заниматься в церкви такими
делами?

Стручок спокойно возразил ему:

— Пойдём как-нибудь со мной к обедне, я тебе
покажу настоящих грешников. Ты сразу поум-
неешь.

Мы с Захаром Псалтырёвым имели к Андреев-
скому собору двойной интерес: хотелось увидеть
священника, совершающего чудеса, и работу
Стручка.

В один из праздников, по ходатайству Стручка,
Храпов отпустил нас в церковь. Для нас это был
удачный день: в Андреевском соборе служил сам
Иоанн Кронштадтский. По этому случаю в храме
собралось столько народу, что с трудом можно
было передвинуться с одного места на другое.

Сначала мы стояли втроем недалеко от алтаря.
Потом Стручок, чтобы не подвести своих товари-
щей, начал понемногу отодвигаться от нас. Мы с
волнением следили за ним и за алтарём.

Наконец, блестя золотой ризой с голубой вышивкой, появился на амвоне отец Иоанн. По всему храму, словно от порыва ветра в лесу, пронёсся сдержанный шорох. Тысяча рук взметнулась, — люди стали креститься. Молился и сам священник. Он был среднего роста, худощав, с русой бородой, с жиденькими волосами, выбившимися на затылке поверх ризы. Но во взгляде его светлосерых глаз было что-то суровое и настойчивое. Возглашая молитву, он как-то странно всхлипывал и произносил каждое слово резко и нервно, как будто отрывал его от своего горячего сердца. Казалось, что он беседует с живым богом, которого никто, кроме него, не видит. Но в то же время не верилось, что это был тот самый священник, слава о котором гремела по всей Руси. Может быть потому, что мы успели наслышаться от старых матросов немало насмешек о его делах, у меня невольно возникал вопрос: что это за человек? Действительно ли он обладает чудодейственной силой, или просто занимается шарлатанством? Верит ли он сам в свои чудеса? Справа, недалеко от нас, около какого-то купца, стоял Стручок. Когда мы взглянули на него, он приподнял левую бровь. Это, как мы условились, означало, что чей-то карман был им уже очищен. Он стал передвигаться дальше, боясь, очевидно, что обворованный человек, спохватившись, может его задержать. Но могло быть у него и другое соображение: он наметил себе новую жертву. А момент для этого был самый удобный: внимание всех молящихся настолько сосредоточилось на священнике, что они не замечали чужой руки, шарившей в их карманах. Я испытывал двойственное отношение к отцу Иоанну: мне хотелось верить в его священнодействие, и, наряду с тем, меня разъедало сомнение. Если он ясновидец, то почему бы ему сейчас не изобличить этого

мошенника? Он должен бы повернуться к народу и громогласно крикнуть:

«Православные! Среди вас есть один человек, по прозвищу Стручок. Это — карманник. Он забыл бога и потерял свою совесть. Вот там он стоит в матросской форме. Один богомалец уже пострадал от него...»

Это произвело бы на всех потрясающее впечатление. Самые отъявленные скептики поверили бы в чудеса отца Иоанна. Но он, как ни в чём не бывало, продолжал своё богослужение, а Стручок, оглянувшись на нас, второй раз приподнял левую бровь.

В соборе пахло ладаном. Перед иконами горели свечи, освещая нарядные лики святых. Множеством огней сверкала богатая люстра. Отец Иоанн скрылся в алтаре. С амвона провозглашал ектению дьякон, громадный и пышноволоосый. С его раскатистым басом как бы перекликался, налаженный хор, наполняя храм стройным пением. Всё это располагало мирян к молитве и надежде.

Наступил самый напряжённый момент, когда все приготовились к всеобщей исповеди. Отец Иоанн вышел на амвон, постоял с минуту перед алтарём, сосредоточенно глядя на царские врата, словно вдохновляясь божественной силой. Внезапно его плечи вздрогнули. Он порывисто повернулся к народу и, нахмутив брови, молча осмотрел всех, грозный, как судья. Тысячи человеческих грудей, раздавленных тяжестью грехов, перестали дышать. Стало так тихо, как будто весь храм сразу опустел. Казалось, не отец Иоанн, а кто-то другой взволнованно заговорил за него, необыкновенно строгий и повелительный, не допускающий никаких сомнений.

— Братие во Христе! Я — немощь, нищета; бог — сила моя. Это убеждение есть высокая мудрость моя, делающая меня блаженным. И вы станете блаженными, если избавитесь от грехов

своих. Будьте искренни на исповеди. Господь бог наш бесконечно милосерд, он всё простит. Кайтесь в содеянных вами грехах.

Он замолчал и, ожидая покаяния мирян, стоял в такой позе, словно приготовился взвалить на свои плечи непомерную тяжесть чужих преступлений.

Какая-то женщина громко взвизгнула:

— Батюшка!

И вслед за этим, словно по сигналу, весь храм наполнился гулом голосов. Это был вопль не менее трёх тысяч человек, опускающихся на колени. Казалось, закачались стены Андреевского собора. Я взглянул на Псалтырёва. Упрямо наклонив голову, он удивлённо озирался, точно бык, попавший не в своё стадо. Чтобы не выделяться среди других людей, мы тоже опустили на колени. Кругом происходило какое-то безумие. Ни в одном доме для умалишённых нельзя услышать того, что происходило здесь. Лишь немногие каялись тихо, а остальные как будто старались перекричать друг друга. Очевидно, им хотелось, чтобы священник услышал их слова, — иначе душа не очистится от грехов. В этом разноголосом гаме можно было понять только тех, кто находился ближе к нам. Рыжебородый купец, мотая головой, признавался:

— Я застраховал свои товары, а потом сам же их поджёг. Мне досталась большая страховка. А за меня пошёл на каторгу мой сторож.

Пожилой чиновник бил себя в грудь и стонал:

— Грешник, батюшка, я изнасиловал десятилетнюю девочку.

Лысый человек, похожий на ломового извозчика, выкладывал свой грех с надрывом:

— Я спьяна избил свою жену, а на второй день она умерла. И теперь не могу забыть своего горя...

Молодой деревенский парень, несуразно широ-

кий, с уродливым лицом, хрипел, как в бреду, о том, что он занимается скотоложством.

Около нас худая женщина рвала на себе волосы, колотилась в истерике и вопила:

— Батюшка! Я собственными руками задушила своего ребёнка. Сердце моё почернело от греха... Нет мне больше жизни...

Некоторые фразы долетали до нас издалека, и мы не видели, кто их произносил:

— Я родную мать уморил голодом...

— На суде под присягой я был лжесвидетелем.

— Из-за меня удавился мой родной племянник...

Чем дальше шло покаяние, тем сильнее было от него впечатление. Очевидно, к отцу Иоанну съезжались люди, может быть, почитаемые и уважаемые дома, но втайне подавленные ужасными грехами. С высоты амвона он мрачно смотрел на своё коленопреклонённое человеческое «стадо», собранное из непойманных преступников. Что он думал в это время? На его окаменевшем лице не было никаких признаков брезгливости перед мерзостью, извергаемой устами трёх тысяч людей. Может быть, он привык к этому и никакая, самая жуткая, тайна человеческого бытия его уже не удивляла. Но нам было страшно. Здесь, в этом прославленном храме, никто не говорил о каком-нибудь добром поступке. Каждый выворачивал свою душу наизнанку, и сочилась она, как запущенная рана, смердящим гноем. Даже в воображении нельзя было нарисовать себе то, что выкладывалось на всеобщей исповеди. Казалось, вся человеческая жизнь состоит из одних только подлостей.

Началось причастие. Люди, приняв его, будут считать себя очищенными от грехов. Потом они разъедутся по домам, чтобы снова творить свои гнусные дела.

Мы с Псалтырёвым вышли из храма.

От ограды собора, около которой уже стояла карета в ожидании отца Иоанна, и до самого его дома вытянулись ряды нищих и калек. Тут были безрукие, безногие, слепые и всевозможные уроды. Они ждали того момента, когда рысак помчит карету. С неё священник одной рукой будет благословлять их, а другой бросать им медные и серебряные монеты.

— Больше я не ходок в эту церковь, — задумчиво сказал Псалтырёв.

— Почему? — спросил я.

— Тошнит, точно я мух наглотался.

Он кивнул головою на калек и заговорил:

— Посмотри на них. Хоть сто раз встречайся они с Иваном Кронштадтским, а всё равно у безногих не вырастут ноги, безглазые не станут зрячими, уроды не превратятся в красавцев. Будто бы с божьей помощью он творит чудеса, а такого пустяка не может сделать. Выходит — бог создал солнце, звёзды, землю, людей, а помочь этим несчастным у него оказалось силы нет. Нет, брат, тут что-то не то.

К нам присоединился Стручок, весело ухмыляясь.

— Ну, как сегодня твоя выручка? — спросил у него Псалтырёв.

— Подходящая. Дома подсчитаем. Идём скорее, есть хочется.

И мы втроём, дыша свежим морозным воздухом, быстро направились в экипаж.

IV

Нас, шесть человек новобранцев, отрядили на кухню чистить картошку. Занятие надоедливое. Время приближалось к полуночи, а у нас работы оставалось ещё часа на два. Руки устали, и после

дневных учений всем хотелось скорее добраться до своих коек. Но нас развлекал Захар Псалтырёв. У него был неистощимый запас разных сказок, легкомысленных и серьёзных. Иногда мне казалось, что некоторые из них он сам сочиняет или, во всяком случае, рассказывает по-своему.

— А то вот ещё было какое происшествие, — начал Псалтырёв ровным и спокойным голосом новую сказку. — После смерти встретились две души. Известное дело, — на тот свет ничего с собою из нарядов не возьмёшь. Обе души были голые. Так что нельзя было понять, какое место каждая из них занимала на земле. Только потом выяснилось, что одна душа вышла из царского тела, другая — из тела самого бедного мужика. Перед ними одна только дорога, и похожа она на длинный, бесконечный мост. Других путей никаких нет. Кругом ни леса, ни речки, ни земли — одна пустота. Идут они этой дорогой и никуда свернуть не могут. Обоим скучно стало. Первым заговорил бедняк:

— Ты куда шествуешь, добрая душа?

— Куда дорога приведёт. А ты? — спрашивает царь.

— Я тоже. Стало быть, мы с тобой попутчики.

— Да, выходит так, — неохотно буркнул царь. Он ещё не привык, чтобы с ним разговаривали без разрешения, и потому был недоволен.

Мужик хоть и бедный был, но любил поговорить и обо всём полюбопытствовать. Может быть, земляка встретил? И вот пристал он к царю с расспросами:

— Долго жил на земле?

— Сорок лет.

— Что так мало?

— И сам не знаю, — отвечает царь.

— Может быть, на работе надорвался?

— Я совсем не работал.

— Значит, без работы остался? Не с голодухи ль помер?

Сравнение с безработным, как крючком за печёнку, задело царя, и он отвечает бедняку:

— Ошибаешься, грубый человек. Еды я имел столько, что некуда было девать. Около меня сколько ещё людей кормилось! Мне доставляли пищу со всей нашей страны. Даже из-за границы привозили её. Тысяча человек была занята тем, чтобы ублажать меня и мою семью. У меня были самые учёные повара, и они трапезу готовили для меня из самых лучших продуктов. Среди зимы я мог есть свежую малину, землянику, яблоки, груши, виноград. Не было на всей земле такого кушанья, какое мне отказали бы подать. А вина какие я пил! Самые дорогие. И наливали их мне в хрустальные бокалы. А разные яства подавали мне на серебряных и золотых блюдах. И пока я обедал, играла музыка. Вообще, только было бы у меня какое желание, — всё для меня делалось.

— Да, — удивляется мужик, — пожил, видать, ты хорошо. А всё-таки в сорок лет скончался. Вот и у нас был такой случай. Недалеко от нашего села жил помещик. Считался первым богачом во всей округе. Земли и леса у него было — за неделю не обойдёшь. И скотины он имел больше, чем было во всём нашем селе. А скотина какая! Племенная! И хоромы с садом были на славу. Одним словом, ни в чём нужды не имел. И вот он влюбился в одну бабёнку. И бабёнка-то была невзрачная — тоненькая, чёрненькая, на цыганку похожая. Присушила она его, что ли? А только, как познакомился с нею, закуролесил наш барин. Каждый день у него пошли пиры — танцы, выпивка, музыка, игра в карты. Через два года всё просадил. Пришли займодавцы и выгнали его из дому. Даже негде было ему приютиться. Последнюю

одежонку спустил на водку. А тут наступили холода. И пришлось ему валяться под забором. Ну, значит, простудился и помер. Наверно, и с тобой так случилось?

Царь даже обиделся и говорит:

— Либо ты настоящий дурак, либо притворяешься дураком. Да у меня разной одежды осталось столько, что можно было бы одеть целый полк. И такой дорогой одежды никто не имел. И собственные дома остались — не дома, а каменные палаты. В них сотни комнат. Если бы ты увидел, как они убраны и как украшены, ослеп бы от блеска. Кроме всего я был первым богачом. Все мои подвалы загружены золотом...

Бедняк перебил царя:

— Эх, вот это жизнь! Ничего не делай, а богатства пропасть. Ешь и пей, что твоей душеньке угодно... Радуйся да и только!

— А мне скучно было, — говорит царь. — Всё мне надоело: и почести, и богатство, и пища. Доходило до того, что я и сам не знал, чего мне ещё хочется.

Бедняк подумал и говорит:

— Не могу понять: при таком богатстве и так рано ты помер. Я бы на твоём месте тыщу лет жил. Лекарей, что ли, не было около тебя поблизости?

— Были. И какие! Самые отборные, самые учёные. Как только я родился, меня окружили доктора. С тех пор они следили за каждым моим шагом. По их совету я спал, ел, пил, прогуливался. Разных лекарств и снадобий я за свою жизнь принял — счёта нет! И заморские доктора приезжали лечить меня. А вот ничего не помогло — я помер.

Бедняка ещё больше любопытство заедает:

— Может быть, ты нехристь и ни разу в церкви не молился?

Царь отвечает:

— Ты какой-то чудака. Да ежели хочешь знать, церковь у меня находилась прямо в палатах, а службу справляли в ней архиереи да митрополиты. Это тебе не простые попы! Я мог заставить их служить за меня молебны в любой час. Я по нескольку раз в году исповедывался и причащался. И во многих монастырях мне приходилось бывать. Не раз прикладывался я к святым мощам. И не только я один молился. Со дня моего рождения за меня молились все церкви, все монастыри и больше ста миллионов моих подданных. А когда я захворал, то печальный звон раздавался по всей моей стране. О моём выздоровлении служили молебны и богу, и сыну божию, и богородице, и всем святым. Не только в церквях, но и во всех домах горели свечи и лампы перед иконами. Да ведь я сам — помазанник божий. А вот — ничто не помогло. Пришла смерть.

— Погоди, — говорит крестьянин. Кем же это ты на земле был?

— Царём-самодержцем!

— Ах, вот оно что!.. Ты, значит, царём был. Так, так. Ну, понятно: тут, конечно, тебе всего вдоволь хватало. Это ты верно говоришь, что за тебя все молились. Когда нам поп объявил, что ты захворал, то и я пошёл в церковь. И моя свечка за тебя горела у Николая-угодника. А теперь выясняется, что впустую я истратился тогда. Да... А прожил ты всё-таки маловато: сорок лет. Совсем пустяк! Получается, что и должность-то у тебя была незавидная.

Оба немного задумались. Потом царь спрашивает бедняка:

— А ты сколько жил на земле?

— Хватит с меня — накинь на сотню пять годков.

— Сто пять лет! — удивился царь и хотел было остановиться, но какая-то невидимая сила толкнула его вперёд.

— Я бы и ещё пожил, да нанялся у одного торговца лес рубить. Сколько я за свою жизнь лесу свалил! Всё сходило благополучно. А тут сплоховал — прихлопнуло меня деревом.

Теперь царь пристал с расспросами к мужичку, как он жил, да что кушал, да на чём спал.

— Богатым я сроду не был. Наше дело крестьянское, — работай всю жизнь, и больше ничего. Избёнка у меня осталась шесть на шесть аршин. Да и та сгнила вся, — всё равно через годок-другой развалится. Прижили мы с женой двенадцать человек детей. Она была у меня баба исправная, почти каждый год рожала по ребёнку. Трое детей померли маленькими, а остальных всех вырастили. Двух дочерей выдал замуж. Один сын погиб на военной службе. Будто он офицера оскорбил и пошёл за это на вечную каторгу. Понять нельзя, как это мой сын мог оскорбить офицера? Уж такой был тихий да работающий мальиш. Остальные сыновья все живут. А у меня такое было правило: как сравнялось сыну двадцать лет, так катись от меня на все четыре стороны. Пусть сам себе зарабатывает на пропитание. Только самого младшего оставил при себе. Думал, поможет мне на старости лет. Да ничего из этого не получилось. Как-то раз поехали мы с ним в город. Дело было летом. Жара стояла несусветная. Встретились нам подгулявшие купцы. Захотели они позабавиться над моим сыном: уговорили его за двугривенный на солнце смотреть и не мигать. С полчаса он глаз не закрывал, а может, и больше. Уж очень ему хотелось получить двугривенный. Ведь вот какой дурак оказался! Двугривенный он получил и тут же залился горькими слезами:

ослеп на всю жизнь. Пришлось мне его кормить... Спрашиваешь, на чём я спал? Да как придётся: на печке, на полатях, на лавке. Подстилку сплёл из болотной травы. Бывало, постелешь её, шубёнку под голову положишь, дерюгой накроешься — и храпишь себе во все носовые завёртки. Да ведь за день так умаешься, что и на голых дровах проспишь. А насчёт еды — что можно сказать? Харч у нас известно какой: квас с редькой, квас с капустой, щей с хлебом похлебаешь. Больше на картошку наваливались. Каша у нас редко бывала. А мяса разве только на пасху да в престольный праздник отведаешь...

Царь спрашивает:

— Что ж ты так бедно жил?

— Да не везло мне: то пожар, то скотина сдохнет. А главное, земли нехватало. По четверти десятины на мужскую душу. А на женскую совсем не давали. Да и земля была неважная. Что с неё возьмешь? Но я всё-таки доволен остался своей жизнью. Пусть кто другой пустит такую поросль, какую я пустил из своей избёнки: дождался и внучат и правнуков. У них, наверно, лучше будет жизнь. Говорили, от помещичьков хотят землицы прирезать крестьянам. Бывало, раздумываешься об этом, водочки хватишь — и так тебе станет весело, что песни поёшь.

Царь выслушал бедняка и долго молчал. Всё о чём-то думал. А потом давай ругаться:

— Ах, негодяи! Ах, подлецы!

— Кого это ты так кроешь? — спрашивает бедняк.

— Обманщикова. Верил я им. А они надули меня. Все мне лгали: и министры, и генералы, и судьи, и советники, и духовенство. О господи! Если бы можно вернуться на землю! Переиначил бы я всю свою жизнь. Все свои богатства я роз-

дал бы беднякам, а сам ушёл бы в народ. Стал бы я трудиться, как и все крестьяне мои, чтобы сто лет прожить.

А бедняк смеётся, — не верит царю:

— Это ты только теперь так говоришь. А верни тебя на землю — опять по-старому будешь царствовать. Разве сам человек откажется от такого богатства да от почёта? И, работать ты не будешь — избаловали тебя. Ведь земля, кормилица-то наша, она любит, чтобы человек поливал её своим потом. А ты, поди, потел только в бане, когда на полкѣ парился. Да и к нашей крестьянской еде тебе не привыкнуть... Да что там толковать! Хоть ты и говоришь, что на земле всё тебе надоело, а всё ж таки ни за что ты не расстанешься со своим престолом.

Царь даже заплакал и начал клясться:

— Если я вру, то пусть сейчас же поразят мою душу громы небесные...

Как только он это сказал, сверкнула молния и такой ударил гром, какого никто не слышал на земле.

Царь проснулся и долго не мог притти в себя: дрожит, как в лихоманке, весь холодной испариной покрылся. А потом опомнился. Вовсе он не помер! Всё это ему приснилось. Он огляделся. Роскошная палата. В одном углу иконы в золоте и бриллиантах. Перед ними неугасимые лампы горят. Около царской кровати доктора суетятся. Один из них обращается к нему:

— Вы бредили, ваше императорское величество. Выкушайте ложечку вот этого лекарства. Оно хоть и горькое, но очень помогает. Потом проглотите вот эти две пилюльки. Минут через десять я дам вам ещё одно снадобье. Его только что доставили нам из-за границы.

Царь с тоской посмотрел на доктора и помор-

щился. Вот уже вторая неделя пошла, как доктора надоедают ему.

— Подождите, — слабо отвечает царь.

В стороне стоят духовные лица: митрополит и архиерей. Они смотрят на иконы и молятся. Митрополит приближается с дарами к царю и говорит:

— Разрешите, ваше императорское величество, ещё раз причастить вас и пособоровать.

Царь и ему так же отвечает:

— Подождите.

То, что он увидел во сне, сильно повлияло на него. Приказывает духовным лицам и докторам удалиться. А вместо них созывает к себе всех министров и высших советников. А когда те явились, он спрашивает их:

— Есть ли в моём царстве мужики, которые живут по сто лет?

Они хором отвечают ему:

— Есть такие, что и больше живут.

— А молится ли за меня мой народ? И что теперь делается в церквах и монастырях?

Тут самый главный министр начинает докладывать ему:

— Вся страна вторую неделю молится за вас, ваше императорское величество. Нет ни одной церкви, где не служили бы за вас молебны. Весь народ в слезах и в большой печали.

Царь приказал подвинуть к кровати стол, а на него поставить чернила, положить бумагу и перо. Хотел он указ написать. И тут он нахмурил брови. Проходит час, другой, а он всё думает и думает. Министры стоят и ждут царского повеления. Ждут сутки, ждут другие. Хочется им и есть, и спать, — прямо с ног валятся, а уйти без его разрешения нельзя. А он молчит. И только на третьи сутки говорит им:

— Хорошо. Пусть всё останется попрежнему. Уходите.

Министры удалились и ничего не поняли, для чего царь созывал их и к чему он такие слова сказал.

И опять доктора начали пичкать его разными снадобьями. Митрополит ещё раз причастил его и пособоровал. Царю становилось всё хуже и хуже. А на второй день он умер по-настоящему.

Когда Псалтырёв замолчал, я спросил его:

— А эту сказку тоже от бабушки слышал?

— Нет. Слышал я её, когда мне было лет пятнадцать. Однажды ночевал у нас странник. Оказался занятный старик. Всю Россию вдоль и поперёк исходил он в лаптях. Мой отец израсходовал на него целую бутылку водки, а он всю ночь нам рассказывал. О чём ни спроси у него — всё он знал: как золото из земли добывают, чем лечиться от укуса змеи, какие травы бывают лечебные, из чего мыло делают. И сказки его не были похожи на наши деревенские. Позавидовал я тогда этому страннику. Вот бы и мне так походить по Руси. Сколько бы я мудрости набрался!

Сказка Псалтырёва нам понравилась. Разговор зашёл о странниках. Мне тоже приходилось не раз встречаться с ними на базарах и ярмарках, в трактирах и крестьянских лачугах. Под разными личинами бродили они по кривым, захоластным русским дорогам, одетые или в монашеские рясы, или в зипуны, или в залатанные рубища городского покроя. Одни из них сеяли среди лапотной деревни суеверия, поддерживали у измученных непосильным трудом людей наивную веру в чудеса и помощь святых угодников. Другие, как пчёлы с цветка собирают пыльцу, — впитывали в себя народную мудрость и заветные надежды, выраженные в сказках и в задушевных песнях, и, как

пчёлы пыльцу, несли эту плодоносящую мудрость в народ. Лапотная Россия, лишённая школ и книг, подбирала крохи социальной правды от таких именно странников. Поэтому они всегда в деревне были желанными гостями, всегда им были готовы ночлег и душевное радушие хозяев.

V

За период новобранства выпал и на мою долю такой вечер, который навсегда остался в моей памяти.

Наш флотский экипаж осветился газовыми рожками. Мы, новобранцы, только что кончили занятия с ружейными приёмами. Все чувствовали себя переутомлёнными. Хотелось отдохнуть, но уже просвистала дудка дежурного по роте, а вслед за нею раздалась команда:—

— На словесность!

Новобранцы нашего взвода, в котором насчитывалось сорок человек, бросились по этой команде к месту учения и расселись по передним койкам. Стало тихо. Только на дворе выла вьюга, залепляя снегом окна. Пользуясь отсутствием инструктора, новобранцы робко озирались. Лица у всех были пасмурны, в глазах отражалась гнетущая тоска.

Рядом со мной уселся новобранец Капитонов, рослый парень, угловатый, низколобый. Он согнулся, съёжился, словно старался стать незаметнее. Тяжело ему было на службе. Выросший в глухой деревне Вологодской губернии, не видавший никогда города, он совсем растерялся, попал в чужую ему обстановку. Военное учение давалось ему с невероятным трудом. В особенности он никак не мог усвоить словесности, которая для него, неграмотного, была какой-то непостижимой

мудростью. Каждый день его подвергали жестоким наказаниям. И, запуганный, задёрганный, он производил впечатление безнадежного человека. У нас с ним был один шкаф, разделявший в заднем ряду наши койки. Вместе мы пили чай, вместе ели ту дешёвую колбасу, какую приходилось иногда покупать в лавках. По вечерам, беседуя с ним, я помогал ему разобраться в уставе и заступался за него, когда над ним смеялись. Он относился ко мне с большой любовью. Иногда его подбадривал Захар Псалтырёв:

— Главное, Капитонов, ты не робей. Что с тобою может сделать инструктор? Ведь не зарежет ножом? Отвечай ему смелее, вроде как не он, а ты старший над ним. И тогда у тебя дело пойдёт.

Пришёл инструктор Храпов, крупный и жилистый человек, и важно уселся против нас на стуле. Это был старший унтер-офицер, кончивший армейскую стрелковую школу. На его обязанности лежало обучать нас строевому делу. На этот раз он казался особенно злым. Дело в том, что утром, понадеявшись друг на друга, никто из новобранцев не принёс ему чаю. Это его взорвало. Желая нас наказать, он привязал к чайнику длинный шнур, и мы все, сорок человек, ухватившись за шнур, отправились на кухню за чаем. Шли в ногу, распевая:

Дулась, дулась, перевернулась,
Перевернулась и согнулась
В три дуги, дуги, дуги.

Вся эта песенка, которую заставил нас петь Храпов, заключалась лишь в трёх бессмысленных строчках. И мы повторяли их, как попугаи. А он, сопровождая нас, командовал:

— Ать! Два! Громче пойте! Не жалеть глоток!
Левой! Правой!

Потом целый день он мучил нас во дворе строевым учением.

С появлением перед нами Храпова новобранцы замерли. Некоторые из них неестественно выпучили на него глаза. Он окинул нас недовольным взглядом и, хмурясь, открыл перед собою военноморской устав. Вдруг инструктор вскрикнул, ставив нас вздрогнуть:

— Наливайко!

— Чего изволите, господин обучающий? — вскочив, откликнулся белобрысый украинец.

— Что такое канонерская лодка?

Наливайко ответил на это более или менее сносно.

— Садись.

Не было такого случая, чтобы Псалтырёв заппнулся в чём-нибудь. И теперь на вопрос, в каких случаях подчинённый не должен исполнять приказания начальника, он отчеканил ответ слово в слово, как сказано в уставе. Храпов заметил ему:

— Тебя, чорта головастого, даже скучно спрашивать.

На присяге несколько человек срезалось. Инструктор выругался, но, к удивлению всех, никого не ударил. Он прочитал нам вслух несколько параграфов из устава и начал объяснять их своими словами:

— Примерно, присяга... Вот вы не ответили насчёт её, а ведь она — это главное на службе. Раз дал присягу, значит — баста: человек с головой и потрохами уже принадлежит царю-батюшке. Не ропщи, стало быть, ни на что. Голод и холод переноси. Потому как это — военная служба, а не свадьба...

Он продолжал дальше произносить несуразные слова, а нам казалось, что мы от них только глупеем.

— Поняли, головотяпы, что я говорил? — закончил Храпов и посмотрел на нас с такой враждебностью, как будто мы были неисправимыми злодеями.

— Так точно, господин обучающий, — ответили новобранцы хором.

— А теперь... Эй, ты, морда тёркою, повтори то, что я сказал вам, — обратился он к новобранцу Быкову, у которого лицо было изрыто оспою.

Тот вскочил, зашевелил толстыми влажными губами, но ничего не сказал.

— Я от тебя ответа жду, а ты, точно корова, только жвачку жуёшь...

— Так что, окромя государя, часовой никому не должен отдавать винтовки, — выпалил наконец Быков и сам испугался.

— Вот тебе на! — вскрикнул Храпов и, ядовито улыбаясь, обратился к нам: — Полюбуйтесь на этого молодца! Ты ему про мачту-грот, а он себе палец в рот. О чём я вчера говорил, он мне сегодня повторяет. Ну, как есть бревно! А ведь, ежели правильно рассудить, должен бы умным быть. Гляньте-ка на его рожу: сам черт на ней арифметику выписывал.

Инструктор повернулся к Быкову и, склонив голову набок, прищурил один глаз:

— У тебя мамаша есть?

— Есть.

— Где она?

— В деревне осталась.

— Ты, может быть, по мамашиной сиське соскучился, дитяtko неразумное, а?

Новобранец стыдливо потупился.

— Я тебя выправлю! — сказал Храпов и кулаком ударил новобранца в подбородок так, что у того щёлкнули зубы.

Инструктор пытливо осмотрел нас и остановил свой взгляд на Капитонове.

— Кто у тебя экипажный командир?

Мой сосед вздрогнул и рванулся с койки.

— Его высокоблагородие капитан первого ранга... ранга Борщов.

— Брешешь!

Капитонов назвал ещё какую-то фамилию.

— Молчи уж! — оборвал его Храпов. — Недорубленный! Послушай вот, что тебе Стручок скажет.

Стручок ответил скороговоркой:

— Его высокоблагородие капитан первого ранга Капустин, господин обучающий.

— Молодец, Стручок!

— Рад стараться, господин обучающий!

— А ты, кукла заморская, поди сюда! — крикнул инструктор Капитонову.

Зная, зачем его зовёт Храпов, новобранец приближался к нему медленно, дико озираясь, точно ища себе спасения. Широко раскрытыми глазами мы следили за инструктором, ожидая, что он применит к виновнику какое-нибудь новое наказание. В этом деле изобретательность у него была поразительная. И действительно, так и случилось. Он постучал кулаком по голове новобранца и прислушался. Потом постучал по деревянной табуретке и, наклонившись, также прислушался. После этого он значительно посмотрел на нас и заявил:

— Одинаковые звуки получаются. Стало быть, голова у него деревянная. Попробую приложить ему пластырь на шею. Иногда это помогает.

Капитонову было приказано нагнуться. Он сделал это покорно и безмолвно. При каждом ударе по шее его голова тыкалась вниз. Раза два он падал на колени, поднимался и снова становился в прежнюю позу. Возвращаясь на своё место, он,

в довершение всего, зацепился за чьи-то ноги и споткнулся.

— Тюлень! — рявкнул ему вслед Храпов.

Словесность продолжалась. И чем дальше она шла, тем злее становился инструктор. Те, кто на чём-нибудь сбивался, подвергались наказаниям, какие только приходили ему в голову. И многие с ужасом смотрели на его сухое и усатое лицо. Спустя полчаса у двоих были окровавлены лица, трое стояли на матросских шкафиках, выкрикивая:

— Я дурак второй статьи!

— Я дурак первой статьи!

— Я глуп, как прѣбка!

В то же время один из новобранцев, засунув голову в топку голландки и называя свою фамилию, произносил слова под суфлѣрство инструктора:

— У Пудеева кобылья голова... Он словесности не знает... Скорее можно свинью научить на белку лаять, чем из него сделать матроса...

И к каждой фразе он прибавлял самую отвѣленную матерщину.

Меня всё больше и больше удивлял Храпов. Нам известно было, что он происходит из крестьян Тверской губернии. Что он усвоил за шесть лет флотской службы? Строевое учение, имена царствующего дома — царя, царицы, их детей, вдовствующей царицы, великих князей. Но для этого не нужно было иметь много ума. И всё же этот малограмотный человек, который с трудом мог нам объяснить морской устав, считал себя в сравнении с нами великим человеком. А мы для него были какими-то неразумными существами. Издеваясь над нами, он упивался своею властью. Я посмотрел на новобранцев, забитых и жалких, и подумал: неужели впоследствии и из них кто-нибудь выйдет таким же жестоким, как этот инструктор? А он, обрывая мои мысли, задал мне вопрос:

— Что такое знамя?

На это, вызубрив весь устав почти наизусть, я ответил без малейшего затруднения. Мне приказано было сесть. Храпов взялся за Капитонова:

— Теперь ты повтори, что он сказал.

Капитонов встрепенулся:

— Знамя... хоругва...

— Ну? — не отставал от него Храпов.

Капитонов, напрягая мысли, морщил лоб. Губы его посинели, в глазах светился животный страх. Наконец, сокрушённо мотнув головой, он забормотал:

— Потому, живота не жалея... святая хоругва... до последней крови... Часовой...

Храпов остановил его:

— Стой ты, дубина стоеросовая! Ну, чего ты мелешь? Нет, измучился я с тобой совсем. Ты хоть пожалел бы мои кулаки: отбил я их об твою дурацкую башку. А всё бестолку. Тебя, видно, учить, — что на лодке по песку плавать...

И, не желая затруднять себя больше, он обратился ко мне:

— А ну-ка, смажь ему разок по карточке. Да по-настоящему, смотри!

Я отказался выполнить такое приказание.

Храпов стиснул зубы и ошетирил усы. Сухое лицо его стало багровым. Он жёстко посмотрел на меня, а потом уставился, словно гипнотизёр, напряжённым и неподвижным взглядом на Капитонова. У того от страха задёргалась нижняя губа. Последовал приказ с хриплым выкриком:

— Капитонов! Если он не того, то ты привари ему пару горячих!

— Есть, господин обучающий!

Ко мне повернулось лицо Капитонова, мертвецки бледное, как маска, и на момент я увидел его глаза, бессмысленно округлившиеся и пустые, точ-

но он внезапно ослеп. Правая его рука откинулась с необыкновенной быстротой, словно он боялся упустить удобный момент для удара. Не успел я произнести ни одного слова, как голова моя мотнулась в одну сторону, затем в другую. Из глаз посыпались искры, зазвенело в ушах.

— Мерзавец! За что ты меня ударил? — задыхаясь от негодования, крикнул я в диком иступлении. Я упал на койку, но сейчас же вскочил. Всё моё существо охватило одно безумное желание броситься на Капитонова и рвать его, рвать до тех пор, пока не истощатся последние силы. Но он сам свалился на пол, как подкошенный, и над ним, яростный и страшный, стоял Псалтырёв, ожидающе глядя на инструктора. Всё это произошло как в бреду, и до моего сознания донёсся резкий голос:

— Разойдись!

● Я увидел удалявшуюся из камеры спину Храпова.

В эту ночь я долго бродил по двору, осыпaeмый холодным снегом, с болью в голове и с горечью в сердце.

Было уже поздно, когда я вернулся в камеру. Газовые рожки, наполовину привёрнутые, горели слабо. Кругом было сумрачно. Новобранцы, утомившиеся от работ и учебных занятий, крепко спали. Дремал и дневальный, привалившись к стене около двери. Воздух был тяжёлый, спёртый, пахло прелыми портянками. Я прошёл к своей койке и начал раздеваться.

Капитонов ещё не спал. Опустив голову, он в одном нижнем белье сидел на своей койке, убитый и несчастный. Лицо его с разбитым подбородком потемнело, взгляд устремился в одну точку. Не глядя на меня, он заговорил робко, дрожащим голосом:

— Прости, брат... Ей-богу, не знаю, как это я... Никогда больше... никогда... Бей меня, сколько хочешь...

И вдруг этот большой человек тяжко заплакал, стараясь заглушить свои всхлипыванья. Я сразу понял, что не он, доведённый до невменяемости, был виноват, а кто-то другой. Мне стало жалко его, как будто своими слезами он смыл злобу с моего сердца.

Через две койки от меня всхрапывал Псалтырёв.

Храпов, очевидно, сам испугался того, что случилось, и никого не посадил в карцер. И вообще он с этого вечера сократился в своих наказаниях. А мне и Псалтырёву совсем перестал задавать вопросы во время словесности.

VI

Весной мы приняли присягу, нас произвели в матросы второй статьи. Служба пошла легче. Меня назначили в плавание на крейсере, и я разлучился с Захаром Псалтырёвым. Ему до болезненности хотелось быть вместе с нами. Он бредил кораблями и морем, но попал в вестовые к одному пожилому капитану первого ранга, Лезвину. Конечно, из моего друга, судя по его задаткам, вышел бы хороший судовой специалист, но ему и на этот раз подгадил Карягин.

На вторую зиму я снова встретился со своим «годком». Псалтырёва трудно было узнать: его лицо лоснилось от сытости, словно он вернулся с богатого курорта. Он весело скалил зубы и рассказывал о своей службе.

— Теперь, брат, служить можно. Я даже доволен, что попал в вестовые. Мне и во сне-то не снилось такое житьё. Расскажу тебе всё по по-

рядку. До чего же чудно́ господа живут! Это, друг, не то, что у нас в деревне. Там на целую семью избёнка, а тут только на два человека квартира из четырёх комнат да ещё столовая. А как всё обставлено! Шкафы с зеркалами в человеческий рост. В столовой — буфет из красного дерева, и посуды в нём на тысячу рублей; стол раздвижной, стулья обшиты кожей. На стенах картины в золотых рамах. Кабинет весь уставлен книжными шкафами. Книги в них и тоненькие и толстые, да всё с золотыми буквами на корешках. Тысячи три книг будет. Пока мои господа спят, я убираю кабинет, а сам нет-нет да и загляну в какую-нибудь книгу. Тут тебе и про моря, и как другие государства живут, и откуда земля взялась. Словом, про всё на свете. Вот я и думаю: как же господам умными не быть, если они столько книг имеют? Среди книг нашёл я иностранный словарь. В нём любое иностранное слово объясняется. Приглянулся мне этот словарь! Думаю: барину он не нужен, — барин и без него всё знает, — а для меня это находка. Я часто заглядываю в него. Теперь господский разговор я начинаю лучше понимать. В спальне на столике приспособлено тройное зеркало, — чтобы можно видеть в нём и лицо своё и затылок; две кровати из карельской березы стоят рядом вплотную: на одной муж спит, на другой — жена. А всего богатства и не пересчитать. Вот уж, можно сказать, живут люди!..

Сначала я боялся своего барина. Толстый он, голос у него хриплый, глаза на выкате, борода ржавая, как прошлогодняя трава в болоте. Дышит тяжело, посапывает. Очень любит свою жену. Третий год идёт, как они повенчались. Она моложе его лет на тридцать. Корпусом и лицом — быть бы ей графиней. Улыбнётся — точно сердце тебе

пощекочет. Нельзя даже смотреть на неё — пьянеешь, словно стакан спирту хватил. И здоровьем бог не обидел её. А ничего не работает. Лежит себе по целым дням на диване и книги почитывает. К вечеру начинает наряжаться в шелка, пудриться, мазаться. Часа два возится с собою, — красоту наводит. Потом уходит в Морское собрание. Муж один остаётся дома, скучает и, от нечего делать, свою бороду жуёт. Это значит — он расстроен. С такой женой наш брат пропал бы совсем. Да хоть бы ласковое обхождение имела с мужем, а то и этого нет. Что он ни скажет, она всё перечит ему:

— Ты глупости говоришь.

Слушаю я своих господ и удивляюсь. Ведь благородные люди, а разговор между ними никак не ладится. При мне редко бывало, чтобы они разговаривали о чём-нибудь серьёзно, дружески, как полагается мужу и жене. Чаще всего — несуразно у них получается. Она, например, охает, жалуется, что у неё сердце болит. Он по-хорошему обращается к ней:

— Наденька, я сейчас вызову доктора.

Барыня ни с того ни с сего сразу же рассердится:

— Ты что — шутишь или смеёшься?

— И не думаю шутить или смеяться, тем более над тобою, моя дорогая.

— Что же значит — вызову доктора?

— А это значит, что я хочу пригласить доктора, чтобы он помог твоему здоровью.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Только то, что сказал.

Она начинает закипать:

— Оставь меня в покое. Мне тошно от твоих глупых предложений.

Не понимает и не хочет понять она своего мужа.

Скандалы у них бывают каждый день и начинаются с какого-нибудь пустяка. У барыни насморк — муж виноват. Купила она себе слишком тесные туфельки — муж виноват. Дождь долго идёт — муж виноват. День очень жаркий — муж виноват. Во всём он виноват, а она всегда права. Сколько барин ни старается, но к чему-нибудь она обязательно придерётся. Скажем, галстук у него немного съехал в сторону... Ну, уж тут держись — достанется как следует! И не замечает она того, что у неё самой мозги съехали набекрень. Иной раз раскричится и давай всячески поносит барина:

— Тебе бы только факельщиком быть, гробы на катафалках сопровождать, а не морским офицером. Таких из флота нужно гнать грязной шваброй.

Он хочет что-нибудь возразить ей, а у неё даже ноздри побелеют, и как зашипит на него:

— Замолчи, корабельная плесень!

Ведь умные книжки она читает, а ругается, как торговка на барахолке. А барин только нахмурится и сидит себе, вроде как и язык у него отнялся. Иногда барыня до того разъярится, что начинает бить посуду и рвать всё, что попадает под руки. Убытку целковых на пятьдесят надевает. Только ни разу не видел я, чтобы она разорвала своё собственное шёлковое платье или шляпку с пером. В чём, друг, тут дело, а? А барин, вместо того чтобы потасовку ей дать, спрашивает:

— Наденька, успокойся. Ну, зачем ты сердишься? Прости, если я в чём виноват.

Помиряется, — барин у неё в ногах ползает и всякие ласковые слова говорит:

— Наденька, радость моя. Я люблю тебя больше, чем свою душу. Вся моя жизнь в тебе.

И туфельки у неё целует. А она улыбается и отвечает ему:

— Котик ты мой паршивенький, зачем ты свою Наденьку так расстраиваешь?

Даже противно смотреть на барина. Перед нашим братом, матросом, задаётся: замри и не дыши при нём, а жену усмирить не может. Такие, значит, правила у господ: хоть какая будь жена, а он должен обожать её, как пречистую деву-богородицу. Иной раз смотрю на них и думаю: чего им нехватает? Говядина вареная, говядина жареная, куры, рыба, пироги, разные сладости, вина — ешь и пей, сколько душе угодно. Жалованье большое. Власть имеют, всюду почёт и уважение. А радости нет никакой. И что этой барыне ещё надо? Потом-то я понял, что она не в те руки попала. А только скажу тебе, что иногда было жалко барина. Как это можно так измываться над человеком? Ведь он тебе не баран, а образованный человек: капитан первого ранга. В чины его производил сам царь. А она кто? Какие у ней чины? А кричит на него — вроде как она адмирал. И доходов от неё, как от лебеды в огороде, — никаких. Даже и кухней-то не занимается. Живёт у нас одна пожилая женщина, она и стряпает.

Кстати, надо тебе сказать об этой кухарке. Я величаю её Настасьей Алексеевной, а для моих господ она — просто Настя. Ей около пятидесяти лет, но голова у неё уже седая, лицо в мелких морщинках. И здоровьем она не может похвалиться, — поизносилась, живя у господ. С молодости работает на чужих людей, срок немаленький. За это время она успела старушкой стать, лёгкой такой, сухонькой. Я присматриваюсь к ней и думаю: другую такую заботливую и честную женщину не скоро найдёшь. Я помогаю ей в работе и очень дружу с ней. Часто сидим мы с ней на кухне и обсуждаем господскую жизнь. Больше,

конечно, рассказывает Настасья Алексеевна, а я слушаю и удивляюсь.

От неё я узнал и о прошлом моих господ. А ещё рассказывал мне о барине старый боцман. Он теперь в отставке, служит в Купеческой гавани сторожем. Но когда-то он долго плавал вместе с Лезвиным на военных кораблях и знает его с молодости. Иногда боцман заходит к нам проведать своего прежнего начальника. У них давняя дружба. Без угощения барин не отпустит его или на водку даст.

А меня очень интересуется господская жизнь, особенно сам Лезвин. Не так у них всё идёт, как у крестьян. Оказывается, его отец и дедушка тоже были моряками. Сначала он взял курс правильный, а потом сбился. Может быть, это потому так вышло, что он рано остался без родителя. Лезвин-отец дослужился до капитана первого ранга. Должно быть, думал ещё выше подняться. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Хоронил он своего друга, какого-то знаменитого адмирала, и командовал парадом. Дело было зимой. Весь флотский экипаж выстроился на плацу во фронт. И вот когда вынесли гроб с флагами, Лезвин-отец скомандовал:

— Смирно!

И сейчас же добавил, как полагается:

— Экипаж, слушай! На кра...

Но матросы не дождались окончания команды... Капитан нагнулся, будто хотел рассмотреть что-то у себя под ногами, и вдруг рухнул лицом в снег. А когда офицеры подбежали к нему, он уже был мёртвый. От паралича сердца умер.

Сыну, то есть моему барину, в это время было восемнадцать лет. Он только что надел мичманские эполеты. Ну, известное дело, сначала погоревал, а потом зажил самостоятельно. Это, как говорит

боцман, был весёлый человек и выпить не дурак. Любил что-нибудь учудить и не стеснялся начальства. За это ему не раз попадало. Однажды при боцмане был такой случай. Судно находилось в заграничном плавании. Молодой Лезвин стоял во время вахты на шканцах, смотрел на море и чему-то улыбался. В это же время командир прогуливался на верхней палубе. Он был старый, у него болела печень, — значит, жизнь пошла ему в тяжесть. Увидел он весёлое лицо Лезвина и набросился на него:

— Чему смеётесь? На вахте стоите, а смеётесь. Что это для вас — палуба военного корабля или Невский проспект? У вас беспорядок!

— Какой беспорядок, где? — спросил Лезвин. — Я не вижу.

— Не видите? — схибно переспросил командир. — Вокруг вас брёвна валяются, а вы стоите и улыбаетесь. Уберите это бревно!

Командир носком ботинка указал на малюсенькую щепочку.

Лезвин посмотрел на командира, потом на щепочку и весело скомандовал:

— Вахтенный! Четыре человека на шканцы! Убрать это бревно!

Командир даже позеленел от злости, а поделаться со своим подчинённым ничего не мог: сам же назвал щепку бревном.

По словам боцмана, Лезвин был умный моряк. Он знал хорошо и штурманское дело, и артиллерию, и всё судно — от киля и до клотика. С англичанами и французами он разговаривал на ихнем языке, как на русском. Его все любили — и офицеры, и матросы. Но высшему начальству он не совсем нравился. Почему? Недоволен он был порядками во флоте и всё писал об этом какие-то доклады. Ему хотелось, чтобы по-другому было на

кораблях — лучше. А там, на верхах, все эти его доклады клали под сукно. Ну, и началось у него охлаждение. Увидел он, что впустую старается, и запил горькую. И все-таки он, как и отец его, дослужился до капитана первого ранга. А дальше не пошёл...

— Его и в адмиралы произвели бы, да жена помешала, — объясняла мне Настасья Алексеевна. — И как это его угораздило жениться на такой? Вероятно, бес помрачил его головушку. Ведь она не благородного происхождения, — дочь какого-то трактирщика. Одно только — красива. За это и взял её на содержание один миллионер. Дорого она ему обошлась. Теперь у неё нарядов — за всю жизнь не износить, и разных драгоценностей хватит. А больше всего она просто транжирила деньги. Пожил миллионер с ней недолго и умер. Тогда её подхватил адмирал-вдовец. Этот за короткий срок просадил с ней всё имение и тоже умер. Такая уж, видно, уродилась: все с нею умирают. Да она, видно, нарочно выбирает себе в мужья пожилого человека, чтобы вольготнее ей жилось. Вот и наш барин влип. Теперь все офицеры от него отвернулись, никто к нам не ходит, — жена-то, мол, у него не из дворянок. А насчёт этого среди господ строго! Говорят, что из-за жены он и в адмиралы не попал. Какая же из неё может быть адмиральша? Один конфуз получится...

Так я понемножку узнал от боцмана и Настасьи Алексеевны всю подноготную своих господ. Значит, вот каким Лезвин был раньше и, каким стал теперь. Совсем сник человек...

Через Настасью Алексеевну и со мною приключилось такое, чего я не ожидал. А всё дело в том, что у неё была дочь... Трудно сказать, что ждёт меня впереди. Судьба человеческая — как

семя, с дерева сорванное: попадёт оно на дорогу — погибнет; попадёт на тощую землю — будет всю свою жизнь чахнуть; попадёт в чернозём — расцветёт.

Дочь кухарки зовут Валентиной Викторовной. Она часто заходит к нам. Ей восемнадцать лет. Служит она в одной конторе машинисткой. С первой же встречи с Валею меня потянуло к ней, как шмеля к душистому цветку. Лицом она не похожа на мать. Должно быть, в отца вышла: нос с горбинкой, губы тонкие, немного изогнутые, подбородок точёный, глаза, как у цыганки, — настолько чёрные, что зрачков не видеть. Волосы у неё густые и причёсаны на прямой пробор, а это всегда придаёт девушке скромный вид. Любит она наряжаться в белые платья, и тогда кажется мне лепестком с вишневого цветка. Характером она в мать, — мягкая и обходительная. А уж такая весёлая, что при ней даже хворый человек засмеётся. Не девушка, а заря весенняя!.. Эх, любовь, любовь! Кто её выдумал? И радость она даёт всем, и страдания. Когда Валя сидит со мной рядом и улыбается, то всё вокруг становится необыкновенным: и кухня с начищенными кастрюлями, и кусок неба, что виднеется в квадрате окна. Вот до чего нравится мне Валя! Даже от голоса её как будто пахнет фиалками. А уйдёт она, — тоска лохматым зверем навалится на мою душу, нигде я себе места не найду.

Но вся моя беда в том, что я из деревни и необразованный. А она окончила городское училище. Где же мне с нею тягаться? Только смотрю на неё влюблёнными глазами, как на звёздочку ясную, и тихонько про себя вздыхаю. Иногда сказками забавляю мать и дочь. Нарочно выбираю для них такие сказки, где говорится, как богатая невеста вышла замуж за бедного молодца и как они

счастливы зажили. Вале это нравится. Стал я замечать, что и она как будто интересуется мною, всё чаще и чаще заглядывает к нам. Я, конечно, стараюсь во всём угодить её матери: плиту разожгу, посуду вымою и что-нибудь состряпаю. А она тем временем отдохнёт. Она относится ко мне, как к родному сыну.

— Славный ты, — говорит, — парень, Захар. За что ни возьмёшься, всё в твоих руках выходит хорошо. Одно только плохо: необразованный ты.

Эх, думаю, вот в чём дело! Она непрочь бы выдать за меня свою дочь, если я отшлифую себя. И взялся я за дело. Прислушиваюсь к господам, как они — когда в ладу, — разговаривают между собой, заглядываю в разные книги. До смерти мне хочется сравняться умом с Валеём. Про себя соображаю, что во всяком деле прежде всего нужна грамота. Без неё даже письма своей возлюбленной нельзя написать. А с чего начать? Обращаюсь к Вале:

— Как мне научиться правильно писать?

Это ей по сердцу пришлось, и она ласково отвечает:

— Я принесу вам книжку. Грамматикой называется она. И могу помочь вам в этом.

Скоро книжка действительно очутилась у меня в руках. Я тогда же подумал, что, может быть, через неё решится моя судьба. И начал я зубрить эту самую грамматику. По ночам, когда все спят, я сижу на кухне и пишу что-нибудь. Иногда Валя мне диктует. И так я старался, что за лето почти все правила грамматики выучил наизусть, а продолжаю делать пропасть ошибок. Мне очень известно перед девушкой. Она смеётся:

— Практика нужна. Через год ты будешь писать без ошибок.

Стал я бывать у Вали на квартире. Комнату

она снимает. Живёт небогато, но у неё всё аккуратно и чисто убрано, как и сама она, аккуратная и чистая. На окнах белые занавески, кровать застлана розовым одеялом, в одном углу комод стоит, около стола два венских стула. Сажу я в этой комнате, смотрю на Валу, и кажется мне: счастливее меня никого нет на свете. Если она станет моей женой, то вместе с нею я одолею всё, как богатыри в сказках.

Неделю тому назад позанимались мы грамматикой, а потом и сам не знаю, как у меня это вырвалось:

— Эх, Валя! За один только твой поцелуй я готов переплыть через весь залив. Только прикажи — сейчас же я это сделаю.

Сказал я так и сам испугался.

Она вспыхнула вся, радостно сверкнула зубами и ответила:

— Зачем же я такую глупость буду говорить? А поцеловать тебя и без этого можно.

Подошла ко мне и точно огнём опалила мою душу. У меня даже голова закружилась. От неожиданности я совсем растерялся и не могу ей сказать ни одного ласкового слова. От радости у меня даже слёзы на глаза навернулись. Я сконфузился ещё больше и невпопад сказал:

— А грамматику я обязательно одолею.

И тут же ушёл от Вали.

А вчера от её матери узнал интересную новость. Сидел я с нею на кухне за чаем, разговорились о жизни. Старушка разоткровенничалась и сообщила мне:

— Только тебе, Захар, одному скажу я тайну. Я насторожился.

— Моя Валя-то ненаглядная — ведь она дочь адмирала.

От этих слов меня будто кто по сердцу реза-

нул. Пропала моя головушка! Разве такая девица пойдёт замуж за деревенского парня? Горько мне стало.

— Как это могло получиться? — спрашиваю.

Настасья Алексеевна начала издалека. Больше всего она служила у морских офицеров — то горничной, то кухаркой. Пришлось ей немало горя хлебнуть. Когда она молодой была, многие господа льнули к ней. И трудно было ей, сироте, отбиваться от них.

Я, заслушавшись, глядел на Настасью Алексеевну, а она рассказывала дальше:

— И вот поступила я горничной к капитану второго ранга. Он человек хороший и добрый, а жена у него — ведьма с Лысой горы. И любовников у неё перебывало столько, сколько в году недель. Двух детей она ему родила, только ни один из них не похож на капитана. Видать — чужие дети. Уехала она с ними на всё лето в Крым. Ну, барин и начал за мною ухаживать. Как-то раз подпоил он меня сладким вином... Ну, что ж тут говорить? Ни один человек не знает, где потеряет своё счастье, где найдёт. Забеременела я, и думала — конец мне. А барин-то оказался совестливый человек. Когда я уходила от него, наделил он меня деньгами. А потом уж приходил на свидание к дочери, помогал мне... Благодаря ему она городскую школу кончила, и сто рублей у неё лежат в сберегательной кассе. И теперь, гляжу я на свою Валеньку — вылитый отец. Только ты, Захар, случайно не проговорись ей. Она ничего об этом не знает.

Я обрадовался, что Валя не знает о своём происхождении, и говорю:

— Будьте спокойны, Настасья Алексеевна. Все ваши слова скроются в моей голове, точно камни в море. Только позвольте спросить: выходит, что

отец Вали вовсе не адмирал, а капитан второго ранга?

— Верно, был таким, а теперь он — адмирал. Виктор Григорьевич Железнов. Может, слышал о нём? Умный человек..

— Нет, ничего не слышал. Мало ли у нас во флоте адмиралов? Всех не упомнишь.

Вот какая, друг, история...

Теперь я и сам не знаю, как у меня обернётся дело с Вале́й.

VII

Захар Псалтырёв замолчал и задумался.

Ротный писарь вручил мне открытку от моих родителей. Я наскоро прочитал её: дома всё благополучно. Потом повернулся к Псалтырёву:

— Рассказывай дальше. Как твои господа поживают?

— Нескладно живут. Но это ещё что. А ты вот послушай, как и меня затащили в новое дело... Сначала мой барин, капитан первого ранга Лезвин, взял меня с собою в плавание. Командует он крейсером «Алёша-Попович». Корабль что надо! Заглядишься! Очень быстроходный. Жаль только, проплавал я на нём всего две недели. За это время облазил его весь сверху донизу, — не осталось такого помещения, куда бы я не заглянул. Сколько механизмов и разных приборов! Чудо человеческого ума! Так я полюбил свой крейсер, точно он принадлежит лично мне. И вот однажды барин приказывает мне:

— Собери свои вещи. Поедешь со мною.

Барин мой оказался человеком простецким. С ним можно было разговаривать о чём угодно. На этот раз он, правда, почему-то насупился, но я всё-таки обратился к нему:

— Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, куда будем держать курс?

— Будешь жить в моей квартире и прислуживать барыне.

Огорошил он меня этими словами, но разве командиру можно перечить?

Когда мы прибыли, барыни дома не оказалось. Вижу я, приуныл старик, точно его с должности рассчитали. Зовёт меня к себе в кабинет и спрашивает:

— Ты женат, Захар?

Дёрнуло меня за язык соврать ему:

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Любишь свою жену?

— Да как же, ваше высокоблагородие, не любить жену? Она и первая помощница мне по хозяйству, и жить мне с ней веселее.

— А не боишься, что в деревне она может с каким-нибудь парнем любовь закрутить?

— Что ж поделаешь... Меня дома нет. Значит, её воля.

— Ну, а если бы это случилось при тебе?

Думаю: к чему это он клонит? И отвечаю:

— Я бы этому парню морду набил. А потом посмотрел бы: крепко они принайтовились друг к другу или нет? Если она только дурить вздумала, то и её проучить не мешает. А если она всерьёз полюбила, то катись от меня на паровом катере к чортовой матери.

Барин похвалил меня: правильно, мол, я смотрю на жизнь. Помолчал он немного, пощипал свою ржавую бороду.

— Вот что, Захар, у нас тоже бывают такие случаи... Ну, как бы тебе это объяснить? Жена мне изменяет.

Он запнулся, покраснел, точно его в мошенничестве обличили. Я стою вытянувшись и руки

держу по швам, как полагается. Вдруг он выпал:

— Так вот, Захар, в чём дело. Если ты в моё отсутствие заметишь на горизонте что-либо подозрительное, то доложишь мне. Скажем, лейтенант или мичман появится в моей квартире... Ясно?

— Так точно, ваше высокоблагородие, всё ясно.

— Только хорошенько смотри за горизонтом, как сигнальщик с корабельного мостика. А я буду тебе платить за это пять рублей в месяц. Это сверх того, что ты вообще получаешь.

— Есть, — отвечаю я.

Он даже похлопал меня по плечу.

— Молодец ты у меня! Умный парень. Уверен я, что от твоего глаза ничего не скроется.

Вот с этого и началась у меня настоящая жизнь. Вечером явилась домой барыня, нарядная, раздушённая. Увидала она мужа и с такой радостью бросилась к нему на шею, что он моментально повеселел. Сейчас же началось у них пиршество. Раньше такой любви у них я не замечал.

Утром барин собирается в море. Барыня горюет, плачет, вкушает ему, что без него она с тоски, с ума сойдёт. Он утешает её, обещает недели через две опять вернуться к ней. Я решаю про себя: пожалуй, зря барин заставляет меня следить за ней. Она просто взбалмошная женщина, но мужу не изменит. Только одно было подозрительно: уж очень ласковой она стала со мной. А на следующий день звонит по телефону кому-то:

— Володя, приезжай скорее. Сгораю от нетерпения. Что? Да нет его дома, старого дурака. В море он. Захвати, Володя, моего любимого ликёру.

Ах, думаю, шельма какая! Обязательно доложу всё барину. Пусть он знает, какая есть у него

жена. Вскоре появляется в квартире мичман — молоденький, чистенький, свежий, словно огурчик с грядки. Духами от него несёт. Улыбается, будто сто тысяч выиграл. В руке у него свёрток с выпивкой. И барыня, увидавши мичмана, зарумянилась, как маков цвет. Сразу же всё в ней переменялось. Глаза радостью сверкают, как роса перед солнцем. А голос такой умилительный, что сердце замирает. Кто может устоять перед такой женщиной? Глядя в это время на барыню, даже подумать нельзя, что она может на кого-нибудь рассердиться. Ангел непорочный! И, может быть, у другого мужа она была бы настоящим другом. А у Лезвина — это поперечная жена. Но он и не замечает, что своей красотой опутала она его, как золотой паутиной, чтобы сосать из него кровь.

Приказывает она мне стол накрыть, рюмочки приготовить, чёрное кофе сварить. Всё я сделал, как велено. Барыня наказывает мне, чтобы я на кухне сидел, а здесь, то есть в зале, я больше не нужен ей. Сажу я на кухне и слышу: щебечут вдвоём, как птицы весной. Помолчат немного, затихнут, и снова — то смех, то разговор весёлый. Старую кухарку барыня отпустила до позднего вечера. Я на кухне один. Скучно мне и завидно слушать, как другие играют в любовь. Пробыл мичман, этот самый Володя, часа четыре и собрался уходить. Я подаю ему накидку, фуражку. Он спрашивает:

— Какой губернии?

— Рязанской, ваше благородие.

— Люблю рязанских.

И даёт мне двугривенный. Через некоторое время барыня зовёт меня в зал. Смотрю, сидит она в кресле, усталая, словно целый день в жнитве провела. Прячет от меня глаза. Разрешает мне допить остатки ликёра! Ну, что за вино!

И пахнет, как цветы, и сладости необыкновенной, и кровь распяляет. Спрашивает она меня ласково так:

— Твои родители, Захар, вероятно, бедно живут?

— Очень, барыня, бедно.

Достаёт из сумочки два рубля и наказывает мне:

— Пошли-ка им. На что-нибудь пригодятся.

Я, конечно, поблагодарил барыню. У нас, в деревне, за два целковых нужно целую неделю работать. И каждый раз так: когда мичман приходит — он мне двугривенный, а она — два рубля. Думаю я: пожалуй, и не стоит докладывать барину. Какое мне дело до их супружеской жизни? Да и какой он ей муж? Разве для неё такой нужен? Недели через две приезжает домой сам барин. Она голову платочком обвязала, охает, — большой прикидывается. Он зовёт меня к себе в кабинет и спрашивает:

— Ну, Захар, как на горизонте?

Мне немного совестно было, но отрапортовал я резво:

— Чисто, ваше высокоблагородие. Только барыня без вас очень скучала. Плохо кушает. Иногда сидит одна и плачет.

Барин доволен и даёт мне пять целковых.

Как и в первый раз, переночевал он только одну ночь и опять отправился в плавание:

Однажды мичман Володя с утра приехал к нам с большой корзиной. В ней были уложены разные закуски и вина. Мне было приказано добавить чайник и чайные приборы, хрустальные стаканы и рюмки. Потом послали меня за другим извозчиком. Когда я вернулся домой, барыня была уже в шляпке и накидке:

— Захар, поедешь с нами!

На одном извозчике сначала уехал мичман, а

минут через десять я с барыней покати́л к приста-
ни. Это было проделано, как я понимаю, для от-
вода глаз: никакого, мол, знакомства между ними
нет. На пароходе мы все втроём переправились
через залив. Там нас встретил лейтенант с какой-
то пожилой барыней. Ростом он в три аршина,
сухой, кости у него крупные, как у лошади, лицо
носатое, нахальное, как будто разутое. Она ниже
его почти наполовину, но тяжестью, пожалуй, не
уступит ему. У ней лицо мясистое, рот широкий,
губы пухлые, глаза жёлтые и смотрят на лейте-
нанта жадно. Платье с большим вырезом на гру-
ди, а за пазухой будто две тыквы заложены. Од-
ной рукой она придерживает шляпку, широкую,
как решето, со всевозможными цветами. Вот такую
бы, думаю, плотную бабу да на крестьянские ра-
боты — что можно бы с нею натворить! На ней
можно бы бороновать. Ну, а насчёт красоты —
она против моей барыни всё равно что лапоть
против сапога. Сначала я полагал, что это мать
лейтенанта. А потом, слышу, он называет её дет-
кой, она его — Мишелем, по-нашему, значит, —
Михаил. Жена? Нет, — так он перед ней рассти-
лается, что сразу видно — не жена она ему! Пос-
ле уже догадался: это такая же пара, как и Володя
с моей барыней. Обе женщины, как только встре-
тились, давай друг друга восхвалять. «Детка» го-
ворит моей барыне:

— Надюша! Милочка моя, ты сегодня прямо
красавица!

А моя ей в ответ:

— Душенька моя, я две недели не видела тебя.
За это время ты очень помолодела. И тебе так
идёт эта шляпка! Ты в ней обаятельная!

Взяли мы трёх извозчиков. Господа попарно
сели, а я на этот раз один устроился — корзину
охранять.

Путешествие наше длилось не меньше часу. Я развалился на сиденьи, как барин, и гадаю: для чего это они взяли меня? На голубом небе кое-где медленно плывут лёгкие облачка. Я смотрю на них и вспоминаю деревенскую песню, как младсизой орел ушиб-убил лебедь белую с лебедятами и пух пустил по поднебесью. И действительно, облачка похожи на пух. В одном месте они как будто тают, в другом новые появляются. Так же вот плывут и мысли в моей голове — то исчезают, то опять появляются. В лесу деревья шелестят листвою, и кажется, что они между собой шепчутся. Потом проезжаем полями. Гляжу я на крестьянские посевы. Узкие, как и у нас, в Рязанской губернии, полоски пестрят картофельной ботвой, гречихой, просом, чечевицей, овсом. И всё ровное поле похоже на огромное одеяло из разноцветных лоскутьев. Дальше, на озимых, под ветром склоняются ржаные колосья, словно куда-то спешно бегут. Как раз время цветения, в воздухе носится жёлтая пыль. Я вспоминаю родное село, какой там ожидают урожай? А здесь — неважный. Земля, видать, истощена и сухая.

Вдруг передние повозки остановились, и послышались выкрики. Что же, думаю, такое случилось? Чему так обрадовались господа? Оказалось, мы подъехали к такой части поля, где, как говорится, от колоса до колоса не услышишь человеческого голоса, а растут одни васильки. Обе барыни и офицеры соскочили с повозок и бросились собирать цветы.

— Боже мой, какая красота! — восхищалась моя барыня.

— Эти цветы возвышают мои мысли! — голосила шестипудовая «деточка».

— Очаровательно! — восклицал Володя.

— Синяя мечта! — басил Мишель.

Моя барыня приказывает и мне собирать цветы. У меня другое на уме, но пришлось подчиниться ей. А она прямо ликует:

— Я безумно люблю васильки. Хорошо мужичкам живётся. Вечно они на лоне природы, среди цветов.

Извозчики угрюмо косятся на господ. И я про наших бар думаю: так вот как они смотрят на нашу кормилицу-землю! Всё у них не так, как у нас в деревне, — и разговоры, и обычаи, и мысли иные. Поэтому никогда, видно, господам не сойтись по-хорошему с мужиком. Не понимают они того, что для крестьян эти синие цветы — слёзы. Те, кто трудился здесь, на этих участках, останутся без хлеба. У меня невольно срывается с языка:

— Барыня, эти цветы — сорняк.

Она упрекает меня:

— Ах, Захар, какой ты невежа! Вырос ты на земле, а не чувствуешь красоты природы.

— Вот если бы васильки на пустыре росли, вместо чертополоха, или в овраге, тогда и нашему брату можно было бы ими любоваться.

Барыня только махнула на меня рукой и запела:

Как голубые огоньки,
Средь золотых стеблей
Растут родные васильки
Для радости моей.

А дальше, видно, не знает слов, и всё повторяет одно и то же. Ей подтягивает лейтенант Мишель. А я чувствую, что всё во мне кипит. Хотелось мне сказать ей словечко, да волки недалечко — мичман и лейтенант. Будь у меня власть, заставил бы я этих господ самих землю пахать. Потом посмотрел бы, как они радовались бы василькам.

Все набрали по охапке цветов и поехали дальше. Минут через пятнадцать остановились на лу-

жайке вблизи какого-то озера. Мичман Володя прыгнул с тарантаса, помог моей барыне спуститься на траву. Потом он огляделся, улыбнулся и сказал:

— Вот это место по красоте самое подходящее для любви!

— Не в этом дело, Володя, — раздался сзади басистый голос лейтенанта. — Любить можно всюду. Только надо знать — как? Я, например, не признаю платонической любви.

Я сперва не понял, о любви какого Платона он заговорил. А Мишель обвёл рукой круг и добавил:

— Это всё равно что смотреть на эту красоту зажмурившись.

Офицеры сговорились с извозчиками, чтобы они приехали вечером, и отпустили их. Мне было приказано раскинуть скатерть, приготовить закуски и раскупорить бутылки. Немного времени спустя все сидели на лужайке, выпивали и закусывали.

Больше всех зубоскалил Мишель, старался рассмешить барынь.

— Какие мы всё-таки набожные. Здорово у нас получается воздержание. В деревнях теперь живут строго: постятся, умерщвляют плоть. Идут Петровки. А для нас, светских, это самое чудное время для пикников и любви на лоне природы.

Вот богохульник! Хоть бы меня постыдил. Тут-то я и понял, что посты только для деревни, а господам всегда масленица. Началась она и для меня. Офицеры, как всегда при женщинах, побрели, стали меня угощать:

— Ты, голубчик, не стесняйся, — уговаривал мичман. — Ешь и пей, сколько влезет. Хватит тут добра.

Наливают мне коньяку половину чайного стака-

на. Смотрю, на бутылке надпись не по-русски. Как объяснил мне мичман Володя, коньяк — французский, самый дорогой. Я ахнул, когда узнал, какая ему цена. За одну только бутылку такого напитка можно купить две овцы. Опоражниваю я стакан и чувствую — по жилам точно огонь разливается. Даже пятки жгёт. Офицеры и барыни подсвывают мне еду, словно я стал их братом.

Лейтенант приказывает мне:

— Только ротом не чавкать. Не напоминай свинью. Терпеть не могу это противное животное.

— Есть, ваше благородие! — отвечаю.

Присматриваюсь к господам, с каких закусок они начинают и как едят, и сам стараюсь во всём им подражать. Беру ломтик белого хлеба, сначала намазываю его сливочным маслом, потом сверху покрываю зернистой икрой. Стоит она три рубля фунт, но зато вкусна же, окаянная! Балычок и сёмга — тоже подходящая закуска. Это тебе не в деревне, где можно под водку есть что и как попало — огурцы, редьку, капусту, селёдку, картошку. У господ должен соблюдаться строгий порядок. По порядку — принимаемся за мясную еду: ветчина, разные колбасы, жареные цыплята. Заканчиваем швейцарским сырром. После коньяка я испробовал ещё разные вина. А напоследок дают мне шампанского. Ну, доложу я тебе, и вино! Раскупоривают бутылку — пробка летит вверх аршин на десять. А сам напиток пенится, искрится и шипит, как рассердившийся гусак.

Мне приказали костёр разжечь и чайник вскипятить. Топора мы не взяли, но я и без него наломал ворох сучков. Дело это для меня привычное. Запыхало пламя. Чай пили с пирожными. Это такая сладость, что тает во рту.

Раньше я думал, образованные люди — народ серьёзный. А оказывается, некоторые из них по

части озорства не уступят деревенским парням. Взять хотя бы Мишеля. Как он сам рассказал, его подтянул за что-то адмирал Бугров, и лейтенант решил отомстить своему начальнику. Случилось это неделю назад. У Бугрова тяжело заболел сын. Мишель в похоронном бюро заказал гроб и послал гробовщика к адмиралу снять мерку с покойника. На второй день лейтенант узнал от адъютанта, что произошло от такой проделки. Адмирал и без того был расстроен, можно сказать, дрожал за жизнь своего сына. А тут появляется гробовщик с аршином. Адмирал взбесился! Набросился на несчастного гробовщика, как зверь, и так его изувечил, что тот весь в крови ушёл в своё похоронное бюро.

Обе барыни и мичман Володя надрывались от смеха и всячески восхваляли Мишеля за его находчивость. А «детка» больше всех хлопала в ладоши и кричала:

— Bravo, мой милый лейтенант, bravo! Предлагаю в его честь выпить ещё шампанского.

Мишель разошелся и ещё больше начал остроумничать. Особенно глумился он над женатыми:

— Ты, детка, для меня дороже всего на свете. Буду тебе верен — никогда не женюсь. Не хочу быть приговоренным к каторге с прикованием к тачке. Да и что такое у нас, в Петербурге, жена? Это — письмо, которое оплачивает марками муж, а читают все. Пью за здоровье моей детки.

Попойка продолжалась. Шумнее становилось у нас на лужайке.

Барыни всё-таки воздерживались и больше забавлялись слабенькими напитками. А офицеры начали мешать водку, коньяк и вина и по чайному стакану выпивать. Как ударил им по-настоящему хмель в голову, пошли они куролесить. Что только они не выделывали! И песни пели, и через костёр

прыгали, и на траве кувыркались. Женщины хохочут, а офицеры ещё пуще выкидывают всякие номера. Потом они парами разошлись в разные стороны и скрылись в кустах.

Я остался один у костра. Живот у меня набит так туго, что можно было бы на нём блоху раздавить. Ведь я один уничтожил пищи столько, что её хватило бы накормить целую семью. Улёгся я на травке и думаю о господской жизни: во что им обойдётся одна только эта гулянка?

Долго офицеры и барыни пропадали, наконец, возвращаются — сначала одна пара, затем другая. Я смотрю на женщин — причёски у них спутаны, платья смяты. Всё мне понятно. Но моё дело маленькое — знай прислуживай. Опять все принимают за выпивку. Пожилая барыня, видно, надоела Мишелю. Начинает он ластиться к моей барыне: то тихонько от других обнимет её, то руку у неё поцелует. А она, видать, ничего против не имеет: улыбается ему и смотрит на него скромными глазами. Мичман Володя заметил это и сквозь зубы процедил:

— Я очень прошу тебя, трехаршинный джентльмен, умерить свои порывы.

Лейтенант рассмеялся:

— Ревнуешь, мальчик?

Володя сразу запузырился и даже побледнел. Слово за слово, пошла у них ругань. Стали они называть друг друга на «вы». Володя уличил Мишеля, что тот всегда норовит покутить только на чужой счёт, и назвал его нечистоплотным. Лейтенант окрестил мичмана прыщом из адмиральской семьи. А тут ещё и барыни сцепились между собою. И чего только они не наговорили одна другой. «Деточка» бросила моей барыне:

— Вы только третий год замужем, а уже десять любовников сменили.

Моя барыня рассвирепела.

— А вам досадно, что от вас все мужчины отворачиваются? Кто на такую старуху польстится? Придётся вам какого-нибудь матроса приласкать.

Офицеры начали угрожать друг другу дуэлью. К счастью, у них не было с собою револьверов. А то они тут же открыли бы стрельбу.

Но вот прибыли наши извозчики. На одном из них Мишель и пожилая барыня уехали вперёд и даже не простились с недавними друзьями. Мы ещё оставались некоторое время около озера. Барыня разрешила двум извозчикам кончать закуски и выпивку. Потом и мы помчались домой. Извозчики, захмелевши, гнали своих лошадей с гиканьем. Дорогой между мичманом и моей барыней, должно быть, произошла ссора. Она пересела ко мне, а Володя и около пристани не остановился, а помчался дальше.

С этого дня он куда-то запропастился совсем. Стал появляться у нас лейтенант Мишель. Значит, отшил он мичмана от барыни. Этот даёт мне на чай по полтиннику. И барыня прибавила, — каждый раз трёшницей награждает. Стало быть, лейтенант пришёлся ей больше по сердцу, чем мичман. Словом, теперь я живу в своё удовольствие. Пища хорошая, все меня любят, и доход кругом. Служить мне долго, — осталось ещё около шести лет. За это время сколько я этих полтинников, трёшниц и пятёрок наберу! Хозяйство у меня в деревне плохое: избёнка ветхая, лошадёнку ветром качает, из скотины всего только две овцы. Вернусь со службы, всё по-другому пойдёт. Новый дом построю, куплю хорошего жеребца, заведу племенную корову. Буду первый житель в деревне. Может, барыня разохотится и ещё одного ухажёра заведёт. Эх, и раздую же я своё хозяйство!

Мечта Псалтырёва не осуществилась. Месяца через три я снова встретился с ним. Лицо его было в кровоподтеках. Нос и губы распухли. Я спросил:

— Что случилось? Где это тебя так разукрасили?

Псалтырёв махнул рукой:

— Кончилась моя масленица, наступил великий пост. Вот балда! Ведь подвёл меня!

— Кто?

— Да лейтенант, этот самый Мишель, чтоб у него всю жизнь было пусто в желудке. Милуется он с барыней, а в это время слышу звонок, длинный, уверенный. Сердце у меня так и дрогнуло. Замер я на месте. Что, думаю, теперь будет? Лейтенант ко мне на кухню. Я выпускаю его через чёрный ход. Потом бегу к парадной двери. Так и есть — сам барин передо мною. Выговаривает он мне, почему я так долго дверь не открывал. Я сочиняю ему: лицо, мол, было у меня в саже, умывался. А он подозрительно смотрит на меня, не верит. Лицо у него сердитое, мрачное. Разделся он и спешит прямо в спальню к жене. У меня сейчас же мелькнула мысль: должно быть, старая барыня, шестипудовая «деточка», из-за ревности написала донос моему барину. Ну, думаю, лейтенант успел уйти, — кажется, обойдётся всё по-хорошему. А вышло не так. Не прошло и двух минут, как началось представление: барин орёт, барыня визжит. С полчаса это у них так продолжалось. Зовёт он меня в кабинет. Иду я и волнуюсь. Спрашивает барин меня:

— Как на горизонте?

А сам от злости так и задыхается. Что-то у него за спиною в руке. У меня еле язык повернулся:

— Чисто, ваше высокоблагородие!

Вдруг он как зарычит!

— Чисто, говоришь? А это что?

Мелькнуло передо мною что-то голубое. Я даже не понял, что у него в руке очутилось. И давай меня он этой самой голубой штукой по глазам хлестать. Мало ему показалось, начал кулаком по лицу долбить. Потом вдруг отшатнулся от меня и спрашивает:

— С кем я сейчас ругался в спальне?

— Со своей женой, Надеждой Александровной, ваше высокоблагородие.

— Врёшь! Это не жена капитана первого ранга Лезвина, а это...

Он громко назвал её таким словом, каким называют только уличных женщин, и прибавил к этому матерную брань. Вот тебе, думаю, и благородный человек! Да так выражаться про свою жену не всякий крестьянин позволит себе. А барин и мне приказывает:

— Повтори всё то, что я сказал!

Привык я ко всяким словам, а тут стало не по себе. Просто совестно обидеть барыню. Ведь плохого я ничего от неё не видал! А тут ещё мыслишка в голове ворочается: может, он хочет обернуть дело так, чтобы потом меня отдать под суд за сскорбление жены.

Барыня сначала плакала, а потом не слышно стало. А он наседает на меня, кулаки держит наготове. Первый раз он таким страшным показался мне: лицо бледное, глаза мутные, ржавая борода трясётся.

Я тихо повторил его слова.

— Громче! — рявкнул он. — Убью на месте!

Вижу я, что барин сорвался с нареза и осатанел: не увернуться мне от его побоев. Эх, думаю, всё равно погибать! И я так гаркнул, что стены дрогнули:

— Это не жена капитана первого ранга Лезвина, а это...

И точь-в-точь повторил его слова.

Барыня вбежала в кабинет и завизжала:

— Мерзавец! Старая калоша! Учишь вестового ругать меня?..

А я тем временем махнул на кухню, захватил свои вещи и понёсся в экипаж. Что теперь мне будет, сам не знаю. Боюсь, изувечит, окаянный.

Псалтырёв попросил у меня зеркало, посмотрел на своё отражение и промолвил:

— Как живописец размалевал мою карточку. Ну, ничего — заживёт. А всё-таки я здорово намордывался на господских харчах. Теперь придётся на полпудика убавиться в весе.

И сразу же рассердился:

— Дурак он, старый дурак, барин-то мой! Что бы ему вернуться домой часика на два позже? Тогда бы все были довольны: и я, и барыня, и лейтенант, и больше всех — сам барин. Так нет же, принесла его нечистая сила не во-время.

VIII

С осени, после кампании, большинство матросов было распределено по разным школам. Из этих школ выходили судовые специалисты: комендоры, минёры, гальванёры, кочегары, машинисты, минные машинисты, сигнальщики, рулевые. Кроме того, были ещё школы для унтер-офицеров тех же специальностей, а также для содержателей казённого имущества и строевых унтер-офицеров.

Захар Псалтырёв ни в одну из них не попал. Его зачислили в расхожее отделение. Это означало, что он (и другие, подобные ему) должен выполнять работы, какие ежедневно назначает фельдфебель: пилить дрова, убирать с экипажно-

го двора снег, вывозить мусор из корабельных мастерских, ездить с баталёром за продуктами. И всё же Захар не забыл о науке. Больше всего он хотел одолеть грамматику. По вечерам я диктовал ему из той или иной книги, а он писал. Потом он сам себя проверял, сличая написанное им с подлинником и подчёркивая свои ошибки. Число ошибок у него уменьшалось с каждой неделей. Это его очень радовало. Теперь, присматриваясь к занятиям товарищей, он взялся и за арифметику. Казалось, для него не было трудностей. Если он намечал для себя какую-нибудь цель, то всегда её достигал. За один месяц им были усвоены все четыре арифметических правила.

В экипаже пища была не та, к которой Псалтырёв привык, будучи вестовым. А тут ещё он настолько увлёкся наукой, что у него мало оставалось времени для сна. Он похудел и осунулся, но попрежнему оставался энергичным и весёлым.

Изредка Псалтырёв встречался с Валей.

Однажды я спросил его:

— Ну, как у тебя с нею?

Захар просиял белозубой улыбкой:

— Занятий стало меньше, а поцелуев — больше.

Да она теперь и сама видит, что года через два я догоню её. А потом дальше пойду. Это сильно повлияло на неё. Но главное — моя любовь к Вале горяча, как солнце, а от солнца, как известно, даже лёд тает. Валя хоть сейчас готова пойти со мною под венец. Только начальство не разрешит мне жениться, пока я не кончу военной службы.

— Долго придётся тебе ждать, — заметил я.

— Да, больше пяти лет. Ну, ничего. Зато, какая жена будет! Всем на зависть. И до чего она приветлива! Спасибо её матери. Она всё время внушает дочери, чтобы не очень зарилась на золотые погоны. Могут обмануть девушку и разбить

всю её жизнь. А для меня Валя — это вторая душа. Теперь и мать её уверилась во мне. Она тоже не прочь видеть меня своим зятем. Не зря она велит мне, чтобы я учился хорошенько. Она считает, что я сначала должен выйти в унтер-офицеры, а потом остаться на сверхсрочную службу и добиться звания кондуктора. Что ж? Может быть, она и права.

— А как поживает твой барин?

— Жена ушла от него. А он с горя ещё больше стал жевать свою бороду. Пока обходится без вестового. Слава богу, про меня забыл.

Скоро в нашем экипаже произошло событие: жандармы арестовали пять человек, в том числе двух унтер-офицеров. Это произвело на матросов сильное впечатление. Во всех ротках втихомолку начались разговоры. Арестованные считались хорошими людьми. Ни в каких уголовных делах они не были замешаны. За что же их взяли, да ещё ночью?

Псалтырёв, возбуждённый, прибежал ко мне и таинственно заговорил:

— Слышал я, — политические они. Будто они что-то замышляли насчёт царя. Неужто верно?

— А почему же нет?

— Да ведь бороться нужно только против господ. От них народ много обиды терпит. А при чём же тут царь? И как без него мы будем жить?

Я сам ничего не понимал в политике и не мог ответить на его вопросы.

— Эх, поговорить бы с арестованными! Вот от них бы я всё узнал. Только говорят, что они никогда больше не вернутся в экипаж.

Однажды утром, во время распределения матросов на работы, фельдфебель, ткнув пальцем в грудь Псалтырёва, сказал:

— А ты придёшь ко мне в канцелярию за нарядом.

Псалтырёв заволновался, ничего кроме каверзы не ожидая для себя от начальства. Действительно, так и случилось. Через полчаса, вручая какой-то запечатанный пакет и билет для проезда по железной дороге в Петербург, фельдфебель строго его наставлял:

— Вот, бери и запомни, что скажу. Твое счастье, что других таких на примете нет. Я тебя рекомендовал вестовым к важному лицу во флоте. Потрафишь — в люди выйдешь. Наверно, ты слышал про сиятельных графов Эверлинг? Так вот, молодой граф в нашем экипаже лейтенантом служит. Иди к нему, это дело тебе знакомо. Только предупреждаю: если подведёшь меня... жизни не рад будешь.

Псалтырёву не хотелось опять итти в вестовые, поэтому он никак не мог разделить восторгов фельдфебеля. Ему всё ещё мерещились классы той или другой специальности моряка. Рассказывая о своём новом назначении, он горько жаловался мне:

— Беда, брат! Только от одного барина отделился, теперь к другому... Из огня да в польмя! Видишь, как оно выходит, дело-то. Ты хочешь одно, а косоглазая судьба подсовывает тебе совсем другое. И почему это так устроена жизнь, что ты обязательно должен занимать на земле совсем не то место, какое любо тебе? А всего досаднее, что с Валею придётся расстаться...

На минуту он задумался и заговорил уже примёрно:

— Ладно. Если Валя по-настоящему меня любит, то ничего не изменится. А я испытаю новую жизнь. Может, удастся чему-нибудь поучиться. Офицеров я узнал. Посмотрю теперь, как графья живут.

Прошло три недели. Под вечер я сидел у себя

в роте и читал роман Виктора Гюго «Отверженные». Вдруг рядом раздался сердитый окрик, заставивший меня вздрогнуть:

— Опять за книгой?

Я машинально вскочил и тут только понял, что это, подражая фельдфебелю, решил поугагать меня Псалтырёв. Он стоял передо мною и улыбался, — полнотелый, отъевшийся на графских харчах.

Поздоровавшись, я спросил:

— Как дела? Совсем вернулся в экипаж или отпущен на время?

— Дела — как тёрка, корявые. И у этого барина просыпался я. Граф что-то написал тут обо мне, — ответил Псалтырёв, размахивая пакетом, — иду в канцелярию, к дежурному офицеру. Потом всё расскажу.

Псалтырёв, нагнувшись, на ухо добавил мне:

— Я всё-таки сейчас успел повидаться с Валеёй. Обрадовалась она...

Псалтырёв повернулся и быстро удалился.

Вскоре под конвоем он был отведен на гауптвахту. Две недели ему пришлось питаться только хлебом и водой. Несмотря на это, он вернулся по-прежнему весёлый, точно побывал на родине. И я с интересом слушал его рассказ.

Прибыл я в Петербург, нашёл улицу, а дом сразу показали — всем известен, стоит особняком. Этажей немного, — только три, а в длину и ширину много места занимает. Кругом железные решётки, высокие. От них меня даже оторопь взяла — боязно как-то стало. А парадный подъезд, — это, по-нашему, крыльцо, — широкий, с каменными ступенями, и по бокам какие-то чугунные чудовища, не то птицы, не то звери, сидят. Поднялся я по лестнице и остановился у тяжёлых дверей. Вместо скобок, висит на них большое кольцо мед-

ное. Смотрю, дверь сама потихоньку открывается. Я вхожу. Передо мною — человек, высокий и толстый, с пышными седыми бакенбардами, с голым подбородком, и такой весь важный, как будто он тоже барин. Длинное пальто и картуз с ясным козырьком, всё в золотых позументах. Брюки на выпуск, ботинки сверкают, как чёрное зеркало, хоть глядись в них. Догадываюсь: швейцар. Вот это, думаю, должность! Только открывай да закрывай дверь, вот и вся работа, а ходят, видно, сюда господа по разбору, редко. Тут здоровья не надорвёшь. Перед этой особой я, натурально, вытянулся, сделал под козырёк, показываю пакет и умьшленно величаю швейцара, как офицера:

— Куда, ваше благородие, прикажете сдать бумаги?

Лицо его расплылось от удовольствия, он добродушно заговорил:

— Не в этот подъезд, парень, ты попал. Тут только господа ходят. Свороти во двор. Спроси у дворника, где контора. Там передашь.

— Меня, ваше благородие, назначили вестовым к вашему графу.

Старик расправил бакенбарды, заговорил медленно и важно:

— Хорошее дело. Его сиятельство — это тебе не простой офицер. Наш барин при дворе часто бывает, с высочайшими особами знается. Послужить его сиятельству — большая честь, и сам ты вроде как бы благородным человеком становишься. Всю жизнь потом гордиться будешь. Только смотри, парень, держи ухо востро, не всякий удостоится графской милости. Много уже вас таких у него побывало.

Слушаю швейцара, а сам думаю: «И чего ты мне плетёшь, мусорная головушка?» А сказал другое:

— Спасибо за совет, ваше благородие!

В конторе взяли у меня пакет, часа два я там просидел — ждал распоряжения. Наконец в нижнем этаже показали мне небольшую комнатку. Два стула, столик, шкаф и железная койка — вот и вся мебель.

Началась моя новая жизнь.

Моим соседом по комнате оказался повар-соусник, Прохор Савельич. На графской кухне, кроме него, было ещё два повара: кондитер и главный.

Но для меня самым интересным человеком оказался этот самый мой сосед-соусник. До сорока лет он дожил холостяком. Те два повара оплыли жиром, а этот, удивительно даже: на таких харчах — и такой был поджарый. Усы он брил, чтобы не пачкать их соусом во время пробы, а бородку только подстригал. Заостренным концом она загибалась у него к горлу и была похожа на запятовую. Круглые глаза немного пучились. Голову держал прямо, и на ней ширилась лысина, плоская и блестящая, как поднос. По вечерам, отделившись отстряпни, Прохор Савельич любил хватить чайный стакан водки, настоенной на ржавых гвоздях. По его словам, такая настойка самая полезная, — железо всасывается в кровь. Кто во что верит!

С соусником я сразу поддужился. А произошло это вот как. Будучи на кухне, я невзначай обжёг себе пальцы у раскалённой плиты. Другие меня обозвали «разиней», а Прохор Савельич достал пузырёк с прованским маслом, смочил им тряпочку, приложил её к ожогу и дружески заговорил:

— Это пустяки. Пройдёт. А вот представь себе, — что ты годовалый ребёнок. Тебя привлекает всё ясное и светлое. А рука твоя необыкновенно длинная и может вытянуться на любое расстояние. И вот ты увидел первый раз солнце и по-ребячьи им заинтересовался. Твоя рука не-

вольно потянулась высоко к небу, потрогать заманчивый светлый шар. Ты обязательно обожжёшь пальцы, как о плиту, только ещё сильнее. Но интересно знать — через сколько времени ты почувствуешь боль?

— Наверно, как от молнии, сразу, — ответил я.

Соусник хитро улыбнулся:

— Ошибаешься, моряк. Вижу, что астрономию не читал. Знай же: ты почувствовал бы боль не сегодня и не завтра, а только через сто шестьдесят семь лет.

На кухне все засмеялись над этими словами.

— Как будто и разумный человек, а мелет чепуху. Это ты, Прохор, от своих книг заговариваться начинаешь, — укорял его главный повар.

А я даже обиделся:

— За дурака, что ли, вы меня считаете, Прохор Савельевич? Понять не могу.

— Клянусь здоровьем, правду я говорю. Могу доказать. Да сейчас некогда. Сварю соуса, подам к столу, тогда заходи ко мне в каморку.

Вечером я пришёл к своему соседу. Он показал мне книгу — «Популярная астрономия», сочинение Фламариона. Своими глазами я прочитал на странице раскрытой книги то, о чём говорил Прохор Савельевич. Впервые здесь я узнал, что солнце от нашей земли отстоит на сто сорок восемь миллионов километров. Так и выходит: ощущения по нервам передаются со скоростью двадцати восьми метров в секунду, а на таком расстоянии, как от земли до солнца, боль от ожога почувствовалась бы через сто шестьдесят семь лет.

До поздней ночи я засиделся у моего нового знакомого. Его рассказы о разных чудесах удивляли меня. С этого раза я часто стал бывать у него.

Потом я взял у соусника ещё несколько книг

по астрономии. Ну до чего же интересна эта наука! Как у нас в деревне говорят — о звёздах! Это, мол, лампы, которые на ночь зажигают ангелы. А оказывается, каждая малюсенькая с виду звёздочка может быть больше солнца. Так через соуслика я впервые дознался о планетах, о кометах и о том, что земля вертится вокруг солнца. И особенно я запомнил слова Прохора Савельича, что астрономия нужна морякам. Без неё штурман — это всё равно, что поп без святцев или требника.

Но что за человек этот Прохор Савельич? Умнейшая голова! Разговорится, только слушай его. Даром, что соуслик. Науками интересуется, а говорить о них было ему не с кем; вот он и обрадовался мне, — хоть один слушатель нашёлся... Кстати, через него я узнал и о жизни своего нового барина. И тоже дивился немало.

Раньше капитан первого ранга Лезвин казался мне богачом. А теперь я понял, что в сравнении с графом — он просто нищий. Кроме петербургского особняка, у графа есть ещё шикарная дача в Гатчине, да ещё больше двухсот тысяч десятии собственной земли. Именья его разбросаны в трёх губерниях. Большие доходы ему дают и винокуренные заводы. Градоначальник, генералы, адмиралы и даже министры считают за честь водить с ним знакомство. Значит, распоряжается он в жизни всеми делами, как фельдфебель новобранцами.

Слушал я Прохора Савельича, и у меня голова кругом шла. Какие же бывают богатые люди на свете! Один только графский особняк чего стоит! Шутка сказать, ведь в нём могут разместиться все жители целого нашего села. Семьдесят две комнаты и три зала: большой, средний и малый, каждый — для разных случаев жизни — для балов, танцев, концертов, обедов. Есть и молельная,

и бильярдная, и комната, где только в карты играют. И каждое помещение отделано по-разному: то всё малиновое, то голубое, то розовое, то под серебро или под орех разделано. В некоторых комнатах стены оклеены обоями, в других затянуты шёлком. А сколько там разных ваз, статуй, мебели понаставлено, картин понавешано! Даже на потолке картины разрисованы и фигуры поналеплены. И к чему всё это, ума не приложу. Всё равно на такую высоту паяться — шея заболит. Есть вазы выше человеческого роста, голубыми цветами раскрашенные. В каждую из них может войти мер пять овса. А тут они стоят пустые и без всякой пользы. Широкая лестница застлана коврами, а по бокам — на фигурных столбах — горят фонари. И, куда ни глянь, — зеркала во всю стену. Когда идёшь, то видишь себя и сзади, и спереди, и сбоку, и кажется: не один ты, а целый взвод шагает со всех сторон. Одним словом, столько диковин наворочено, что глаза можно растерять. И всё такое хрупкое, что дотронуться страшно, — того и гляди разобьёшь. В самом большом зале висит люстра, преогромная, лиловый хрусталь на ней. Цены нет! Стоит, почитай что, дороже всего нашего деревенского стада. В этом зале могут разместиться за столами сразу две роты, и всем места хватит. Не дом, а дворец!

Хоромы огромные, а вся семья графа состоит только из четырёх человек: сам граф — Леопольд Генрихович, в чине лейтенанта флота; мать, уже старуха; жена, Луиза; дочь у ней, Тамара, грудной ребёнок. А сколько людей их обслуживают! Кроме трёх поваров, ещё больше двадцати человек наберётся: швейцары, лакеи, официанты, горничные, дворники, кучера, камердинер, домашний доктор, кормилица, судомойки. И над всеми есть управляющий домом. Сначала я даже путался

среди них и некоторых, по ошибке, за господ считал. Многие одеты нарядно, разве сразу разберёшься?

Три дня я жил, графа не видел и ничего не делал. Учили все меня, как я должен стоять, повёртываться, с какой стороны и когда заходить, если граф за стол сядет; как ему отвечать, как подавать. Столько упражнений прошёл, точно в театр готовился. Давали мне поднос с горкой тарелок и учили, как расставлять их на столе. Мои обязанности в этом доме, как мне объяснили, были маленькие: убрать кабинет и подать завтрак графу. А кабинет устроен на морской лад, и в него ни одна горничная не имела права входить. Как я понял, граф воображал, что здесь он находится на военном корабле, а потому и не должна сюда заглядывать женщина. Только вестовой может кабинет обслуживать.

Наконец меня допустили к самому графу. Я нарядился во флотский костюм первого срока, на руки натянул белые перчатки. Лакеи меня кругом вертели, осматривали — всё ли в порядке. Против дверей, за которыми занимается граф, в стене — углубление, по-господски называется ниша, а в ней — столик. Это — мой дежурный пост по утрам. На столике приготовлен серебряный поднос с разными тарелочками и кофейником. На тарелочках — тонко нарезанные ломтики белого хлеба, ветчина, сёмга, сливочное масло, зернистая икра, сыр бри, яйца всмятку, сардины, сосиски из рябчиков, печенье и ваза с фруктами. Это — завтрак. Я посматриваю на часы. У меня такое состояние, будто меня сейчас будут судить и мне грозит казнь. Я стараюсь себя успокоить, упрекаю себя в трусости, но всё равно волнуюсь. Ровно в восемь часов камердинер говорит: «Пора». И открывает передо мной дверь. Я вхожу в просторную комнату. Осторожно разгружаю всё с подноса на стол.

Куда что поставить, как ножи и вилки положить и всё прочее — это мне теперь уже известно.

Мельком я оглядываю комнату. Хоть немного, но мне пришлось поплавать на корабле. Видел я там обстановку. И замечаю, что здесь у графа всё украшено по-морскому. На стенах — картины морских боев. Один угол похож на штурманскую рубку. На письменном столе — модель военного корабля с пушками, чернильница с якорем и якорным канатом, барометр. Перед столом на тумбе — штурвал и магнитный компас. И тут же — на стене — разные морские приборы.

Эх, думаю, вот где живёт, наверное, настоящий моряк!

В восемь часов десять минут входит в комнату сам граф.

— Здорово, братец, — слышу я его тихий голос.

Я быстро повёртываюсь к нему, вытягиваюсь и браво отвечаю:

— Здравия желаю, ваше сиятельство!

— Давно на военной службе?

— Второй год, ваше сиятельство!

— Вольно. Продолжай своё дело.

Граф — высокого роста, статный. Ему лет двадцать пять, а удлиённое лицо у него нежное, как у подростка. Нос прямой, усики завиты так, точно он приклеил к верхней губе два обручальных кольца. Голова правильной формы, светлые волосы аккуратно зачёсаны на прямой пробор. Словом, весь он как будто точёный. Красавец! Вот, что значит высшая порода! Только одно меня удивило в нём: имеет несметные богатства, из пищи ни в чём себе не отказывает, а всё-таки такой бледный, как будто его долго трепала лихоманка.

Граф садится за стол и начинает завтракать. Я наливаю ему стакан душистого кофе, добавляю

топлёных сливок и становлюсь в стороне, как меня учили. Как только опорожнится стакан, я снова наполняю его, пока не услышу: «Довольно». Полагается, чтобы кофе было и не холодное и не горячее. Избави бог, если граф обожжётся. Я наблюдаю за ним, — ест он меньше, чем пятилетний крестьянский мальчик. У меня начинается любопытство: какие мысли копошатся в графской голове? Мне он кажется невероятно умным, обходительным и добрым человеком.

Завтрак кончен. Граф переходит к другому столу. Он начинает просматривать какие-то бумаги, а я убираю посуду на поднос и ухожу.

И так вот каждый день. Моя главная обязанность подать завтрак графу, а когда он уйдёт, убрать его комнату. Обедает и ужинает он с семьёй. А я приставлен к нему только для того, чтобы хоть по утрам он чувствовал себя, как на корабле. Из-за этого держат лишнего человека в доме — матроса.

Как-то я спросил соусника:

— Почему это почти все господа такие красивые?

Прохор Савельевич смеётся:

— До всего ты хочешь допытаться, моряк. Это хорошо.

И начинает объяснять:

— Если ты хочешь знать, вот в чём тут причина: женщины улучшают породу господ. Клянусь здоровьем! Возьмём для примера какого-нибудь знатного и богатого человека. Лицо у него скуластое и приплюснутое, нос седлом и задрался вверх, точно астрономией интересуется, губы толстые, точно у лошади. Ведь от того, что этот человек будет кушать шикарные блюда с моими соусами, он только разжиреет. Но лицо у него не вытянется, скулы у него не убавятся, нос не ста-

нет с горбинкой и губы не станут тоньше. Противно смотреть! И всё же за такого уroda охотно выйдет замуж любая красавица из бедных. Клянись здоровьем! Женщину прельщают деньги, слава и роскошная жизнь. От такой супружеской пары дети будут уже не такими уродами, как их отец. Прими ещё в расчёт: жена такого мало приятного мужа приищёт себе красавца на стороне. Тогда уже насчёт улучшения потомства дело обеспечено. Дети подрастут и в свою очередь женятся на красавицах. Таким вот манером и получается особая, господская порода. Понятно?

— Как не понять...

— А теперь возьмём обратное явление. Почему у некоторых господ начинает ухудшаться их порода? Я говорю насчёт красоты. Это бывает у прогоревших аристократов. Через женитьбу ему нужно поправить свои дела. Он уже не разбирает, какая у него будет жена. Пусть она дурна собой, лишь бы за ней были большие деньги или через неё можно продвинуться по службе. Вот как это происходит. И тут опять влияют женщины.

...По праздникам все слуги графа в обязательном порядке собираются в молельне. Можно сказать, весь домовый экипаж налицо, и я в том числе. Граф с семьёй тоже присутствует. Набожный, видать, человек, — сам усердно молится богу и следит, чтобы и другие так делали. Вообще он человек степенный, с женой живёт ладно, не так, как мои бывшие господа, Лезвины.

Молельня эта совсем не похожа на другие графские помещения. И церковь её тоже нельзя назвать. Потолки невысокие и без всяких украшений. Старинные иконы прямо в стены вделаны, перед ними подсвечники стоят. В маленькие окошки проникает мало света.

Я молиться ленив, но тут душа как-то по-иному

настраивается. Священник — молодой, краснощёкий, в меру сытый. Подаст он возглас, а хор так подхватит, как будто тебя на крыльях уносит в небо. В хору участвует человек двадцать — мужчины и женщины. Голоса на подбор. Особенно на меня влияло подвешенное к потолку, вместо паникадила, светящееся сердце из красного стекла. Горит оно тусклым светом, но кажется живым, — словно кровью облитое. В старину, говорят, царские особы заходили сюда молиться вместе со старым графом — отцом нашего барина.

От графского стола остаётся очень много пищи. Прислуга пользуется этим и подчищает тарелки и кастрюли. Всем хватает. А пища-то какая! Чего только не придумает старший повар! Я наблюдаю за ним и записываю всё себе на память. Возьмёт он ломтики швейцарского сыра, обмочит их в сболтанном яйце, положит на греночки, потом накроет ломтиками костного мозга, и всё это запекается в духовом шкафу: любимое кушанье графа. Называется оно — крутон мозль. А поглядеть на жаркое из фазана и рябчиков. Картина! Фазан красуется на крустадах, а вокруг него разложены половинки рябчиков на крутонах. К этому блюду полагается зелёный салат и брусника. Иногда графу захочется суп из бычьих хвостов, а на второе — филей из серны. Уж на что, кажется, стерлядь — вкусная рыба, но ему готовят её разварной на шампанском. Прохор Савельевич старается насчёт разных соусов. Из них к каждому блюду должен быть свой особый сорт. Даже трудно запомнить все названия: голландский, маршаль, сборный, горчичный, татарский, жёлтый, польский, грибной, королевский, соус из раков, с миндальным молоком, из шарлоток, из лимонного сока и мадеры, из вишни, из трюфелей. Смотрю я на Прохора Савельевича: то он жжёного сахара под-

ложит в кастрюльку, то подольёт какого-нибудь вина — мадеры или хереса. Оказывается, это тонкая специальность — быть соусником. Он говорит мне:

— Я могу приготовить такой соус, что ты с ним съешь котлеты из древесных опилок и только облизнёшься от удовольствия. Клянусь здоровьем!

А кондитер своё выделывает: слоёнки, пирожные, печенья. Иногда он приготовит торт, похожий на крейсер. Словом всё должно быть красивым, вкусным, и каждый день нужно придумать что-нибудь новое.

И вот иногда по вечерам сидим мы с соусником вдвоём и рассуждаем о графской жизни. Прохор Савельевич всё знает. Он тебе расскажет, где и что добывается и какая этому цена. Сколько людей обслуживает графа дома, и сколько работают на него на стороне. Не только в России, но и во всём мире трудятся для него. Ведь есть же у нас хорошие напитки. Нет, дай ему заграничные вина: из Италии — марсалу, из Франции — коньяк и шампанское, из Германии — рейнские вина, из Испании — малагу и Педро Хименес, из Англии — эль, портер, с острова Мадера — вино мадеру, из Капштадта — капштадтское вино. А если говорить о пище, то придётся перечислить ещё больше стран. Ему поставляют: Италия — омары, остров Сардиния — сардинки, Португалия — яблоки апорт, Франция — разные сыры, Бельгия — остендские устрицы, Яффа — апельсины, Алжир и Тунис — лангусты, остров Цейлон — ананасы, Турция — виноград и кофе мокко, Азорские острова — бананы и помидоры. Всего не перечислить.

Прохор Савельевич подсчитывает, во что обходится графу и его семье только один день жизни. А я слушаю и думаю: боже ты мой, господи! За что, за какие благодеяния ты так ми-

лостив и щедр к графу? И почему ты к другим людям так жесток и беспощаден? Ведь попостись граф лишь один день, а деньги, что сбережёт на этом, передай нашему селу — какое было бы счастье! У нас не осталось бы ни одного безлошадного и бескоровного двора. А святые отцы по целым неделям постились, и то не умирали. Соусник продолжает подсчитывать и другие расходы: выезды, театры, музыка, гости. А расходы на содержание в столице такого большого дома? Или — гатчинской дачи? Цифры растут... Прохор Савельевич спрашивает меня: сколько в нашем селе бедняков? Я сообщаю ему. Он начинает распределять графский дневной расход по беднякам. Получается: один бы день экономии, не осталось бы у нас в селе ни одного захудалого жителя. Все они были бы со скотиной и все оделись бы во всё фабричное. А тут эти расходы и труд множества людей идут только на то, чтобы граф и его маленькая семья чувствовали себя хорошо.

Когда соусник говорит о графской жизни, его плоская лысина покрывается, словно росой, мелкими каплями пота. Видать, что в душе у него закипает ненависть к богатым. И меня он своими подсчётами будто крапивой обжигает. Граф кажется мне уже не таким добродушным человеком, как в первый день...

Я спрашиваю:

— А для чего вы, Прохор Савельевич, всё это рассказываете мне?

— К слову пришлось. А между прочим, цифры так же очищают мозг от тупости, как очищает гребешок волосы от насекомых. Клянусь здоровьем, это верно.

Я продолжаю любопытствовать:

— У графа кабинет обставлен, как штурманская рубка. Должно быть, он любит корабли, море.

Может, это самый умный моряк во всём нашем флоте.

Он метнул на меня жёсткий взгляд и говорит: — Некоторые простачки блажь принимают за ум. Ценность фруктового дерева определяют по его плодам, а человека — по его делам.

К Прохору Савельевичу иногда заходит горничная Ксения. Ей лет тридцать пять. Женщина расторопная и разговорчивая. Всё у неё в норму, только носик подгулял: половину лица занимает. Метит она соусника в мужья себе и вместе с ним хочет собственный ресторанчик открыть. У неё уже шестьсот рублей денег накоплено. Но у того что-то другое на уме. Она приставлена к старой графине и должна её одевать и раздевать, мыть. От этой горничной я тоже много знаю о своих господах. Старая графиня совсем дряхлая, сама ходить не может — её водят под руку. Сидит она по целым дням в креслах и чётки перебирает. Есть ей ничего нельзя, кроме манной каши и киселя из свежих фруктов. И всё она старину вспоминает, какая тогда весёлая жизнь была, а теперь — никуда не годится. Невдомёк ей, что в молодости всё кажется хорошо. Повидал я и молодую графиню. Где только, думаю, таких жён выбирают? Высокая, статная, лицом — кровь с молоком. Значит, правильно соусник сказал, — через женщин улучшается господская порода. Таких, как эта графиня, я только на картинах видал. А родную дочку свою, Тамару, грудью она не кормит. Кормилицу для девочки наняли. Как-то встретился я с девочкой; сидит она в коляске, показывает на меня пальчиком и улыбается. Ей пока всё равно, кто и какого происхождения. Ну до чего же красивая она! Ангелочек! Меня больше всего удивило: мать не кормит своё родное дитё! Как это так можно? Будь она чахоточной — дру-

гсе дело. А то ведь пышет здоровьем. Неразумные животные, и те кормят детёнышей своим молоком, а эта не хочет. А почему? Боится истощить себя и потерять красоту.

Присмотрелся я к графу — заносчивый человек! Со мной почти не разговаривает. Я хожу на цыпочках и всё делаю молча, словно у меня нет ни языка, ни голоса. Вероятно, он на всех людей смотрит так же, как смотрит хозяин на своих лошадей, — все должны для него работать, чтобы ему хорошо жилось на земле. Это не то, что мой прежний барин. Тот — простяга, хотя чинами и старше его. А у этого гляди в оба. Однажды я убрал его стол и поставил письменный прибор не на то место, на каком он раньше находился. На каких-нибудь полвершка сдвинул его с прежнего места. Но граф даже такой пустяк заметил. Показывает пальцем на письменный прибор и строго говорит:

— Чтобы этого больше не повторялось.

— Есть, ваше сиятельство!

Стал я привыкать к своим обязанностям. Да и не всё ли равно, где служить?

Но муха, когда садится на клейкую бумагу, не знает, что она может влипнуть. Так случилось и со мной. В двенадцать часов граф обычно куда-то уходит из своего кабинета и до следующего утра редко когда возвращается к письменному столу. Без него я и стараюсь везде навести чистоту. И всё меня притягивают книжные шкафы. Что за сокровища скрываются за стёклами? Читаю на корешках книг разные названия: «Лоция», «Навигация», «Теория кораблестроения», «Морская практика». Никогда я этих книг не трогал. Но вот попалась мне на глаза «Морская астрономия». Вот о ней-то, вероятно, и говорил мне соусник. И такое любопытство меня охватило, что дрожь

по телу пошла. Достал я эту книгу, уселся в кресло за графский стол и с волнением раскрываю её. И что же? Ничего не могу понять: слова замысловатые и всё чертежи какие-то и рисунки, а на них — цифры и нерусские буквы. Как же, думаю, так получается? У соуслика я брал книжки по астрономии — там всё ясно, а тут я — как баран перед чудотворной иконой. Перелистываю книгу дальше — то же самое. И не заметил я, как вошёл в кабинет граф Эверлинг, а когда увидел его, — было уже поздно. Я вскочил и замер на месте. Он подходит ближе и смотрит на меня такими злыми глазами, точно я у него жену отбил, и спрашивает:

— Просвещаться вздумал? Уселся за моим столом и моими книгами интересуешься?

У меня даже во рту стало сухо.

— Виноват, ваше сиятельство.

— Положи книгу на место.

А когда я это исполнил, он приказал мне повернуться кругом и потом в спину тихо скомандовал:

— Чтобы твоего духу не было здесь, вобла паршивая! Шагом марш!

Вскоре управляющий вручил мне запечатанный пакет, который я должен доставить в свой экипаж по начальству. Я рассказал соуслику, что произошло у меня с графом. Он покачал головой и сказал:

— Да, участь твоя незавидная.

К вечеру он пригласил меня к себе в каморку. На столике у него уже были приготовлены разные закуски. Сам он выпил стакан настойки на ржавых гвоздях и мне поднёс. Сидим, угощаемся и разговариваем.

Я жалуясь ему:

— Ведь не украл я у графа эту самую «Морскую астрономию». Неужели, если я — матрос, мне и заглянуть нельзя в книгу? Я только хотел

узнать, как это моряки пользуются астрономией. А ведь от этого ничего не сделается книге. Теперь, наверное, накажут меня. За что, спрашивается? Где же правда?

Прохор Савельевич внимательно посмотрел на меня и говорит:

— Ты захотел правды? Она есть на земле. Но только кривда пока сильнее её. Я расскажу тебе сказочку. А ты запомни её и поразмысли над ней.

Таких людей, как Прохор Савельевич, редко встретишь. Говорю — умнейшая голова. Мы расстались друзьями. Конечно, его сказку я никогда не забуду. Вот она.

В столичном городе на улице встретились Кривда и Правда.

Кривда была телом полная, лицом румяная, одета вся в шелка. Золотые перстни и серьги сияли у неё бриллиантами. Шею украшало ожерелье из самых лучших жемчугов. Кривда была уродливая, но все говорили, что она первая красавица. Она могла зайти в любой сад, в любой самый богатый дом и даже во дворец. Всюду для неё были открыты двери, всюду люди уступали ей дорогу. Что бы она ни сказала, ей поддакивали, с ней во всём соглашались. Все перед нею преклонялись и говорили ей одни ласковые слова. Если она ударяла какого-нибудь бедняка по лицу, тот счастливо улыбался и просил ещё раз удостоить его такого счастья. Она ударяла его ещё раз и говорила, что претерпевший до конца наследует царство небесное. А пока что избитый бедняк получал от неё, как милость, монету на фунт чёрного хлеба. Кто мог пойти против Кривды? Она заправляла жизнью людей.

Правда была красавица собой, но уж очень много вынесла она горя и страданий. Мало было

людей, которые уважали её. Отовсюду её гнали: с фабрик, с заводов, из домов, с любой работы. Вместо одежды, на ней висели жалкие отрепья. И сама она до того была худа, что едва передвигала ноги. Только глаза у неё горели яростным огнём, это-то больше всего и пугало людей. Ей нельзя было появиться на главных улицах. Чистая публика шарахалась от неё и начинала ворчать:

— Зачем пускают сюда эту рвань? Чтобы кошельки таскала из наших карманов? Да она и заразить может нас какой-нибудь пакостной болезнью...

Сейчас же городовые хватали её за шиворот и прогоняли с главной улицы. Если же она сопротивлялась, то сажали её в клоповник. Но её ничем нельзя было запугать. Она не боялась людям говорить обличительные слова. За это её сажали в тюрьму, ссылали на каторгу. А она опять появлялась среди людей. На свете не было таких оков, которые могли бы сломить её упрямство.

И вот на широкой улице столкнулись лицом к лицу Правда и Кривда. Разговорились. Кривда в этот день была в барышах, — значит, весёлая.

— Всё бедствуешь? — спросила она Правду и усмехнулась.

— Да, такая уж моя участь. До поры до времени я ещё много должна буду перенести всяких мучений.

И в свой черёд спросила Правда:

— А ты, как видно, всё богатеешь? Всё народ обираешь?

Кривда расхохоталась:

— Пока на свете водятся дураки, я, слава тебе, господи, живу хорошо. Пойдём со мною — угощу в самом богатом ресторане. Кстати, поучись от меня, как нужно жить на свете. И тогда начальство будет тебя уважать, а попы благословлять.

Подумала Правда, — одну её никогда не пустят в богатый ресторан, а не мешает узнать, чем Кривда живёт.

И, действительно, нашли такой богатый ресторан, где даже лакеи наряжены по-господски. Правду не хотели было пустить в ресторан, но Кривда прикрикнула на служащих:

— Не перечить моему нраву! Эта особа со мной идёт. Я хочу наставить её на путь истинный.

Никто не посмел возразить Кривде.

Уселась она с Правдой за столом и начала заказывать разные яства и вина. Ели и пили часа три. Подали счёт на восемьдесят рублей. Пора уходить. Правда думает: как теперь Кривда будет расплачиваться? А та позвала лакея да как закричит на него:

— Ты что же это, негодяй такой, сдачи мне не даёшь? Взял с меня сто рублей и думаешь зажить двадцать рублей?

Лакей испугался и забормотал:

— С чего сдачи? Вы мне ещё не платили.

Кривда рассвирепела:

— Значит, я, по-твоему, вру? Выходит, не ты, а я жулик? Позвать хозяина!

Приходит толстый человек. Кривда раскрывает свой бумажник, вытаскивает из него сотенные да пятисотенные бумажки и орёт на хозяина!

— Это безобразие! Это не ресторан, а разбойничий дом. Здесь среди бела дня людей обирают! Вашему жулику я дала сто рублей, а он не принёс мне сдачи. Да ещё хочет второй раз получить с меня по счёту. Я буду жаловаться генерал-губернатору. Он закроет ваш жульнический притон навсегда. А тебе, укрывателю мошенников, не миновать тюрьмы.

Хозяин задрожал от страха и побелел, как мельник. Отдал он Кривде двадцать рублей. По-

том повернулся к лакею и давай колотить его по морде. Мало того, хозяин стал угрожать ему:

— Сегодня же я из твоего имущества наберу всяких вещей на сто рублей. Ты опозорил мой ресторан перед такой знаменитостью. Чтобы твоя нога не была больше здесь. Вон отсюда сию минуту.

Лакей горько заплакал:

— Господи, где же правда на этом свете?

Правда хотела заступиться за несчастного. Но тут Кривда горчицей залепила ей рот.

Когда вышли на улицу, Кривда спросила Правду:

— Теперь поняла, как нужно жить?

— Да, — ответила Правда. — Я для того и пошла с тобою, чтобы хорошенько узнать твою натуру. Но откровенно скажу: твои годы сочтены.

— Почему ты так думаешь? — спросила Кривда.

— С каждым годом ты дряхлеешь, превращаешься в развалину. А у меня всё идёт наоборот: я наливаюсь силами, становлюсь всё крепче. Придёт время, когда я заговорю полным голосом, заговорю о всех твоих мерзких делах. Меня услышат все народы нашей земли, и тогда для тебя, Кривда, и для всех твоих почитателей наступит лютое время. Ты будешь ползать у моих ног, будешь просить помилования, но для тебя не будет пощады. Народ сотрёт тебя с лица земли, как поганую нечисть. Прощай!

Правда гордо пошла одна, а Кривда хотела позвать городских, но у неё от ужаса пропал голос и не поворачивался язык.

IX

Спустя ещё два месяца, фельдфебель объявил Псалтырёву, чтобы он немедленно отправился к прежнему своему барину, капитану первого ранга

Лезвину. Захар был смел и решителен, но тут он оробел. Приближаясь к знакомой квартире, он не сомневался, что ему предстоит пережить жестокую расправу. Может быть, его отдадут под суд. И у кого он, матрос, найдёт себе защиту? Дезертировать? Но где достать документы? Рука его дрогнула, когда он нажал на кнопку звонка. Дверь с чёрного хода открыла ему кухарка Настасья Алексеевна. Она обрадовалась его приходу, морщинистое лицо её оживилось. На кухне, сообщая ему новость, она зашептала:

— Запил барин горькую. До женитьбы это тоже с ним случалось, но не так часто. При барыне он сдерживался. А теперь опять сорвался. Сколько я бутылок ему перетаскала! И такой задумчивый стал, что даже боязно у него жить. Того и гляди, руки наложит на себя. За такую, можно сказать, ветреную бабу и так страдает. Слава богу, что ты пришёл. Это я надоумила его: лучше, мол, Захара не сыскать вам вестового.

Она хотела ещё что-то сказать, но вдруг повернулась к горячей плите и вскрикнула:

— Ах, боже мой! Вот разболталась с тобою, а тут мясо пригорает.

Псалтырёв робко вошёл в спальню. Лезвин, в одном нижнем белье, лежал на кровати, прикрыв одеялом ноги. У его изголовья стоял маленький круглый столик с недопитым стаканом чёрного кофе. Сразу же бросилась в глаза перемена в барине: лицо его осунулось, постарело, под глазами обозначились тёмные круги, ржавая борода была нечёсана. Его можно было принять за больного. Он тихо поздоровался с Псалтырёвым, а потом спросил:

— Хочешь, Захар, опять служить у меня вестовым?

Псалтырёв, обрадовавшись, резво ответил:

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— Отлично. Только скажи мне откровенно, Захар, почему ты тогда обманул меня? Почему ты не сообщил о том, что было в моей квартире?

— По правде сказать, ваше высокоблагородие, я хотел обо всём доложить вам, да не решался. Жалко было вас. Вы и без того мучились. Какая была у вас жизнь? Содом и Гоморра.

Лезвин тяжело вздохнул, а приободренный Псалтырёв продолжал:

— Из-за женщин всякая беда может быть. Вот у нас был случай в барском имении, по соседству с нашим селом. Жена управляющего спуталась с одним студентом. Управляющий накрыл их. И ничего он не придумал иного, как взял и отравился. Я был на его похоронах. Смотрю на виновницу-жену: стоит она в церкви у гроба и слёзы роняет. А как понесли гроб, она разрыдалась на всю церковь. Эх, думаю, как жалко ей покойника. А в дверях она отходит в сторону, вытаскивает из сумочки зеркальце и давай себе волосы приглаживать и лицо пудрить. При настоящем горе разве жена станет думать о причёске и пудре? Перед смертью управляющий, поди, думал — после него она с отчаяния будет головой о стенку биться, а получилась вон какая чепуха. Вот почему я и не хотел вас расстраивать, ваше высокоблагородие.

Капитан потер лоб и протянул:

— Так. Пример поучительный.

Псалтырёв осмелел:

— С хорошей женой, ваше высокоблагородие, всякое горе нипочём. Но как найдёшь такую? Это всё равно, что в орлянку сыграть: повезёт — и дурак выиграет, а не повезёт — и умный всё до копейки просядит. Даже не всякий учёный может выбрать себе хорошую жену. Был в Петербурге один знаменитый профессор-доктор. Он всё лечил

нервных женщин и ещё таких... Как они называются? Вроде... исторички...

— Ты хочешь сказать — истерички? — поправил Лезвин.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Самые вредные женщины. Слава об этом учёном докторе гремела на всю столицу. Женщины к нему валом валили. Мужья не жалели никаких денег — только бы вылечил. Но чтобы попасть к нему, нужно было записываться вперёд за два месяца. Он брал за приём двадцать пять целковых, а с больной возился всего лишь каких-нибудь пять — десять минут. Только господские жёны могли у него лечиться. Бедным это было не по карману. Да среди крестьянок и болезни-то такой совсем нет. В своём селе я что-то не слышал о ней. И вот этот знаменитый доктор будто бы здорово помогал чужим жёнам. А свою жену никак не мог вылечить. Каждый день она точила мужа, точно моль сукно, устраивала ему скандалы и не ставила его ни во что. При таком богатстве жизнь для него стала горче хрена. Вот вам и учёный доктор! Можно сказать, специалист по женской части! А всё равно промазал: подходящую жену не мог себе выбрать.

— А ты откуда об этом знаешь?

— Наша кухарка рассказывала мне. Она когда-то жила у него в горничных. Я теперь всю господскую жизнь знаю насквозь. Мне частенько приходится встречаться и с другими кухарками и горничными. Ну, и узнаю от них про всё.

— И как же, по-твоему, господа живут?

— Иные подходяще, а иные — очень плохо. Всё зависит от того, какая жена попадёт. Добрая — веселье, а худая — зелье. Ежели по-крестьянски рассудить, то и ваша жизнь, ваше высокоблагородие, никак не могла наладиться. Вы

человек серьёзный, а у барыни сквозняк дует в голове. Сам бог, когда создал её, должно быть, три дня плакал. С такой женой жить — это всё равно, что голым на шиповнике спать. Какой интерес? Простите, ваше высокоблагородие, может, я лишнее сказал.

— Нет, ты правильно рассуждаешь. Ты, оказывается, умнее, чем я раньше думал о тебе. Ну, вот что, Захар, забудь, что мы с тобой поскандалили, и скорее переселяйся в мою квартиру. А кухарку я сегодня же рассчитаю. Без баб обойдёмся. Завтрак ты сумеешь мне приготовить, а обед и ужин будешь приносить из Морского собрания.

Псалтырёву стало жалко Настасью Алексеевну, но через неделю она уже устроилась кухаркой у других господ. Он успокоился. Снова у него наступила сытная жизнь. Барин относился к нему хорошо. Теперь у Псалтырёва оставалось много свободного времени, которое он тратил исключительно на самообразование.

Вскоре капитан 1-го ранга Лезвин был назначен командиром эскадренного броненосца «Святослав» и переведён в другой экипаж. Вместе с ним был зачислен в тот же экипаж и Псалтырёв.

Наши встречи с Захаром стали реже. А весной его броненосец в составе эскадры ушёл в заграничное плавание.

В последний раз, прощаясь со мною, Псалтырёв сообщил мне:

— Только тебе одному скажу новость. Второй месяц пошёл, как я женился на Вале. И ещё больше мы полюбили друг друга.

— Как же ты добился у начальства разрешения на женитьбу?

— А мы сами себе разрешили. Кончу службу — в церкви обвенчаемся. Я без обмана с Валей... Жалко покидать её, но зато я все моря увижу.

Я пожелал Псалтырёву попутного ветра и разлучился с ним на целых три года.

Х

В конце улицы, что упирается в Купеческую гавань, бравый матрос пересёк мне дорогу. Мне показались знакомыми его уверенная походка и фигура. Он первый окликнул меня. Передо мною, протягивая мне руку и широко улыбаясь, стоял Захар Псалтырёв. Что-то новое было в его обветренном лице с лихо закрученными чёрными усами. Мы обрадовались друг другу и, завернув в Петровский парк, уселись на скамейку.

Была холодная осень. Над головою шумели деревья, роняя последние остатки пожелтевшей листвы. По Финскому заливу разгуливал резкий ветер и, забавляясь, гонял крутые волны. Малый и Большой рейды были пусты. Военные корабли, кончив летнюю кампанию, стянулись на зимовку в гавань, и она продолжала ещё шуметь лязгом лебёдок и гудками паровых катеров.

Разговаривая с Псалтырёвым, я всматривался в его лицо, обожжённое южным солнцем и овеянное ветрами разных широт. Это уже был не тот деревенский парень, какого я знал с новобранства. Заграничное плавание, пребывание в иностранных портах, знакомство с жизнью людей разных стран до неузнаваемости расширили его умственный горизонт. Со мною рядом сидел развитой моряк, разбирающийся в военно-морском деле так хорошо, как будто он кончил Морской кадетский корпус. А между тем он продолжал оставаться вестовым.

Псалтырёв весело воскликнул:

— Эх, сколько я должен рассказать тебе! И про наше плавание, и про начальство, и про свою любовь. Я ведь сейчас возвращаюсь от Вали. Но-

чевал у неё. Но о ней — после. Теперь определилась моя дороженька. В деревню, видно, мне не придётся вернуться. Буду моряком на всю жизнь — либо останусь на сверхсрочную службу, либо поступлю на коммерческие корабли. Я так полюбил море, что без него жить не могу. И корабль для меня стал родным домом.

Он показал рукой на левую сторону гавани:

— Вон наш двухтрубный красавец стоит — «Святослав». Завтра спускаем вымпел и флаг. Зиму на берегу проживём, а весной опять отправимся в плавание. Броненосец наш самый образцовый. На счёт порядка и боевой подготовки ни один корабль во всём флоте не может с ним тягаться. Ну, что за судно! Так бы и плавал на нём без конца.

Я спросил, глядя на восторженного вестового:

— Значит, командир старается и во всё вникает сам?

— Ничего подобного. Я за него это делаю. Да ты что таращишь на меня глаза? Думаешь, я умом рехнулся? Нет, друг, моя голова работает исправно.

— Ничего не понимаю, — удивился я.

— А вот расскажу тебе всё, и ты поймёшь.

Псалтырёв покрутил большие чёрные усы и начал рассказывать, а я слушал этого своеобразного человека, как всегда, очень внимательно.

— Никогда, друг, не узнаешь, как повернётся твоя судьба. Когда барин мой, капитан первого ранга Лезвин, вызвал меня во второй раз к себе, я думал — пропала моя головушка. А вышло всё наоборот. Человек он умный и добрый. Только пьёт много. Должно быть, очень обидно ему, что жена у него такой оказалась. От этого он немного ненормальным стал. А всё-таки такого командира не сыскать нигде. Для команды он — благодетель,

для офицеров — ад. А я с ним живу, что называется, душа в душу. Одно лишь плохо — заставляет и меня водку пить. На корабле все считают его за трезвенника, и никто, кроме меня, не знает, что на самом деле происходит у нас. С берега я доставляю ему крепкие напитки: ром, коньяк, виски. Этого добра у нас всегда в запасе целые ящики. А из буфета кают-компания ничего не берём. Утром командир выходит к подъёму флага, принимает рапорты от старших специалистов и после этого целый день спит. Потом ещё раз, вечером, появится на палубе к спуску флага. В редких случаях можно увидеть его на мостике. Но зато ночью он, словно сыч, не спит совсем. Тут подавай ему на стол выпивку и закуски. И только я да стены его каюты знают, как он чайными стаканами хлещет водку. И меня угощает. Но где же мне за ним тянуться? Я квасу не могу столько выпить, сколько он водки. Я отказываюсь от выпивки, а барин смеётся надо мною:

— Эх, ты! А ещё крестьянин! Сирень ты персидская!

И такой вот загул у него происходит каждую ночь. Поэтому сначала распущенность на судне была невероятная. А мне до слёз было обидно за свой корабль. Потом мы взялись за дело по настоящему.

Но сначала расскажу о себе. Я теперь привык спать не больше трёх-четырёх часов в сутки. Не хватает у меня времени: то корабль изучаешь, то на книги набрасываешься. Грамматику, наконец, я осилил и почти совсем не делаю ошибок. Арифметика мне легче далась. Как-то командир увидел у меня задачник Малинина и Буренина и спросил:

— А ты понимаешь что-нибудь в этой книге?

— Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, любую задачу могу решать.

— А ну, попробуй!

Он ткнул пальцем в раскрытую книгу.

Я быстро решил задачу.

Он прицелился в меня взглядом.

— Кто тебя учил?

— Никто. Сам занимаюсь.

Командир удивился.

— Теперь тебе надо за алгебру приниматься.

— А вы бы помогли мне, ваше высокоблагородие?

— Учебник для тебя достану, а помогать не буду. Раз ты взялся за учёбу самостоятельно, то и дальше продолжай так. Честь и хвала тебе будет, если ты без всякого учебного заведения станешь образованным человеком.

И ещё стал я увлекаться чтением разных книг. Что может быть лучше чтения? Никто из образованных людей не станет со мною разговаривать, — для офицеров я только вестовой. Лишь один мой барин по доброте своей душевной делает для меня исключение. А тут берёшь книгу великого человека и с волнением раскрываешь её. Этот великий человек не гнушается матросом. словно другу и товарищу, рассказывает он мне наедине о жизни других людей. Да ведь какими словами говорит и какие картины рисует! Иногда дух захватывает. Из книг я с жадностью черпаю знания и накапливаю их в своей голове, как великие драгоценности.

Но меня интересует не только художественная литература. На барахолке я купил уголовный кодекс и прочитал его от корки до корки. И теперь я знаю, за что людям наказание бывает и по каким статьям их судят. Попался я с этой книгой на глаза командиру. Он смеётся:

— Неужели тебе интересно это читать?

— Да как же, ваше высокоблагородие, не интересно? Сами посудите: вот вам небольшая кни-

га, а в ней предусмотрена вся человеческая жизнь. Закон — это линия для людей, как для лошади борозда, когда пашешь. Чуть сверни с неё — по-лучай и в хвост и в гриву. Я всё думаю: если кто-нибудь совершит такое преступление, для которого нет статьи в законе, то что тогда будет? Раз нет статьи, то ведь и судить человека нельзя?

Барин на это ответил:

— Оригинал ты у меня.

А потом посоветовал мне:

— Ты бы лучше занялся учебником для строевых унтер-офицеров. Впоследствии я произведу тебя в унтеры.

— Покорнейше благодарю вас, ваше высокоблагородие.

Выучил я этот учебник почти наизусть, но толку от этого было мало. Требовалось строевую часть пройти ещё на практике. И тут мне очень помог наш старший боцман Кудинов. О нём надо рассказать подробнее.

Много у нас было на корабле пьяниц из офицеров и матросов, но он по части выпивки всех перекрыл. И всё-таки голова у него всегда соображала. Он плавал на коммерческих и пассажирских судах, а больше всего — на военных кораблях. Нет таких морей, на которых не побывал бы боцман. За двадцать пять лет службы во флоте он так освоил судовые порядки, что мог поучить любого офицера. И когда только этот человек спал? Даже в часы отдыха он обходил корабль и заглядывал в такие места, какие не входили в его ведение, — в башни, в бомбовые погреба, в угольные ямы, в кочегарку, в машинное отделение. И знал он на судне каждую заклёпку не только сверху, но и за двойными бортами. Если бы он попал в хорошие руки, то для судна такой боцман был бы кладом. Кудинов не боялся ничего на свете — ни моря,

ни огня, ни людей, ни бога, ни чорта. Начальство прощало ему пьянство и все его причуды.

У боцмана была своя правда, и он по-своему защищал её. Зря он никого не обижал, но провинившийся матрос лучше не попадайся ему, — избьёт. Ударял и приговаривал, за что он наказывает матроса, а напоследок прибавлял:

— А это тебе за господа бога!

И всё же команда любила его. Он никогда не подводил матросов перед начальством. Не жаловался он, когда и ему попадало от них на суше. Словом, выходило так: на корабле он бьёт их, а на берегу иногда они его колотят. Широкий и сильный, он умеючи действовал в драке своими длинными, как у гориллы, руками. За двадцать пять лет службы ему выбили все зубы. Переносица у него была перебита, и от этого кончик носа задрался. Стал похож боцман на старого мопса. На лице у него не осталось живого места, всё оно было в шрамах. Но больше всего пострадал в драке правый глаз. Перекошенный и вывернутый, он настолько вылез из глазницы, что веки не могут его закрыть. Боцман и спит с открытым правым глазом. Храпит, а сам смотрит, как будто и во сне продолжает следить за судовыми порядками. Но видит он им нормально. Только жутко бывает, когда Кудинов своим повреждённым кровавым оком уставится на тебя, словно разъярённое сказочное чудовище. В кабаках об его голову столько разбили бутылок, что на ней сплошь образовались бугры и ямы. Постричь машинкой или побрить такую голову для парикмахера было нелёгкой задачей. За это они брали с него в два раза дороже, чем с остальных людей.

Боцман очень любил, когда матросы обращались к нему за каким-нибудь советом и называли его по имени и отчеству: Лаврентий Касьянович...

Тогда он ласково улыбался беззубым ртом и становился задушевым человеком. Как только я узнал об этом, то частенько стал бегать к нему с разными вопросами. Он часами поучал меня, как нужно маты плести, как морские узлы завязывать, для чего блоки служат и как нужно ими пользоваться. Через него я узнал, так сказать, душу корабля и всю строевую службу. Боцман так любил меня за это, как будто я был его родственником. Когда мы оставались с ним один-на-один, он ругал офицеров:

— Пустой народ. Для многих из них корабль вроде забавы, как карусель для детей. За что, спрашивается, получают большое жалованье? Если бы у меня была власть, я бы показал им, как нужно служить родине. Небо вспотело бы от жары.

А сам боцман был таким моряком, как будто он и родился в якорном клюзе. Преданность судну у него была необычайная. За всю свою многолетнюю службу он ни разу не остался «нетчиком». Бывало, напьётся и выделяет по улице такие зигзаги, какие разве только на адмиральских погонах увидишь, а с курса не сбивается. Случалось, что на четвереньках приползал на пристань. Один только раз опоздал на последнюю ночную шлюпку, да и то не по своей вине. И не растерялся — бросился в воду и давай плыть к своему судну. А оно на рейде стояло. Пожалуй, часа два боцману пришлось плыть. И вот что всех удивило: ночь была тёмная, на рейде стояли и другие корабли, а всё-таки он — в пьяном-то состоянии — разыскал своё судно. Подплыл к борту и кричит с воды вахтенному начальнику:

— Честь имею явиться, ваше благородие.

В это время вахтенный начальник по мостику прохаживался и, может быть, о чём-нибудь меч-

тал. Ночь была тихая. Шлюпка не могла подойти без шума, — как никак, всплески вёсел он услышал бы... И вдруг из-за борта раздаётся человеческий голос. Вахтенный начальник дёрнулся, перегнулся через поручни и, должно быть, с испугу заорал: — Что за чертовщина! Кто там такой? Человек или привидение?

— Да это же я, ваше благородие, боцман Кудинов.

— Что случилось? Почему опоздал?

— Я тут ни при чём. Последняя шлюпка на десять минут раньше указанного времени отвалила от пристани.

За борт выбросили шторм-трап, и боцман поднялся на палубу.

На второй день расследовали это дело: боцман оказался прав. В кают-компании офицеры только посмеялись над ним и никакому наказанию его не подвергли.

Грубый человек был этот старый холостяк Кудинов, а сердце у него было хорошее... Попробуй при нём обидеть женщину, хотя бы уличную, — расшибёт! Бывало, отпустят его на берег, он набьёт карманы конфетами и наделяет ими ребятшек.

Был с нашим боцманом такой случай. Эскадра наша стояла в Неаполе. Я был отпущен в город. К вечеру небо заволокло тучами. Я с одним машинистом заторопился к пристани. Улица спускалась под уклон. Видим: идёт Кудинов, шарахается из стороны в сторону, кренится то на правый борт, то на левый. А тут ударил ливень. Боцман потерял остойчивость и растянулся между мостовой и тротуаром. Ливень — всё сильнее, — прямо уж не ручьи, а река хлещет. Видим мы, что захлёбывается боцман грязной водой и никак встать не может. Получается несуразица: все моря и

океаны человек обошёл, а на берегу может утонуть. Бросились мы к нему и начинаем его поднимать. А он отфыркивается, загребает руками, словно плывёт по морю, и кричит нам:

— Женщин и детей спасайте, а я ещё могу держаться!

Пока мы его довели до пристани, он малость очухался.

Словом, — это настоящий боцман! Море для него — мать родная, корабль — брат родной. Жаль, начальство использует его не так, как нужно. С таким боцманом можно поставить корабль на зависть всем врагам.

И вот теперь я знаю строевое дело по учебнику, а через Кудинова — и на практике. Что командир ни спросит меня, на всё я даю ему правильные ответы. Но в унтер-офицеры он всё ещё не производит меня. Говорит, что ему не хочется расстаться со мною. Ну, что ж, я могу подождать, а живётся мне с ним очень хорошо.

XI

Псалтырёв замолчал, увидев приближающегося к нам лейтенанта. Мы оба вскочили и отдали честь. Но офицер, занятый своими думами, прошёл мимо, не обратив на нас никакого внимания. Глаза на его окаменевшем лице были неподвижны, как у рыбы, и напряжённо устремлены вперёд.

— Наш вахтенный начальник Морозов, — сказал Псалтырёв, когда мы снова уселись на скамейке, — мрачный человек. Никогда я не видал, чтобы он улыбался. Вот и узнай, чем он ушиблен, о чём думает. Но матросов он не обижает. Образованный человек!

Но тут я попросил Псалтырёва рассказывать дальше.

...Хотя я прислуживаю только командиру корабля, — продолжал мой друг, — но присматриваюсь и к другим офицерам. Всякие среди них есть: пьяницы и трезвые, хорошие и плохие, умные и глупые, весёлые и мрачные. Я настолько изучил их, что могу сразу определить, кто женат, кто беден, кто богат. Женатые и бедные — это офицеры из прогоревших дворян. Жалованья им нехватает, на всём им приходится экономить. Бельё они носят «монополь». Манишка, воротничок и манжеты стоят всего лишь пятнадцать копеек. Богатые такую дешёвку не будут покупать. Эти и за столом держат особый фасон — салфетки у них всегда заткнуты за воротничок. Их так и называют — салфетники. Непонятно для меня одно: все эти благородные люди ютятся в одной и той же кают-компании, и у всех у них должна быть одинаковая цель — поднять боевой дух корабля. Но почему-то строевые офицеры относятся к нестроевым свысока. А ведь нестроевые, как, например, судовые и трюмные механики и доктора, имеют высшее образование. Но они носят серебряные погоны, поэтому им дана обидная кличка: «берёзовые офицеры».

Заговорил я о кают-компании, а не сказал самого главного: знаешь, кого я там встретил? Лейтенанта Мишеля, того самого, который путался с моей барыней и подвёл меня. Фамилия его — Сухов. На судне он занимал должность ревизора. И ещё один знакомый оказался на нашем корабле — лейтенант граф Эверлинг. К нам его назначили вахтенным начальником. Узнал он меня, но не поздоровался, только губы скривил. Но об этих двух офицерах расскажу после подробнее.

Как говорится, каков поп, таков и приход. Командир мало интересовался своим судном. У него появилось какое-то равнодушие ко всему.

Ну, само собой разумеется, и офицеры разленились. А раз начальство такое, то и матросы стали лодырями. Одним словом, военный корабль превратился в пассажирский пароход для прогулок. Пушки, минные аппараты и разные механизмы начали ржаветь.

Взялись мы с командиром вместе за борьбу против распущенности. Ты, наверно, удивляешься? При чём, скажешь, тут вестовой? А я сейчас тебе расскажу, в чём дело. Пойми, друг, ведь мне следить за порядками на корабле сподручнее, чем командиру. Возьмём любого из командиров — как поступает он? Раз в две недели, в какой-нибудь праздник, устраивает смотр своему судну. Все заранее готовятся к этому, во всех отделениях наводят чистоту, даже кочегарку моют с мылом, медяшку надраивают до блеска. Поглядит он на всё и доволен, но в сущность дела не вникает. А ведь военный корабль — это тебе не картина, которой можно только любоваться. На нём, может быть, в бой придётся итти... Больно мне смотреть на такие порядки. Уж очень я полюбил свой корабль. Всё его оборудование интересует меня: и артиллерия, и как башни вращаются, и чем начинены снаряды, и мизное дело, и электричество, и машина. Одним словом, мне хочется всё узнать. Иду я к комендорам. В одной башне побываешь, в другой, заглянешь в казематы, иногда спустишься в крыйт-камеры или бомбовые погреба. Вот комендоры-то и рассказывают мне обо всём устройстве. Я теперь могу любую пушку разобрать на части, смазать их и опять поставить на место. Знаю, как зарядить её и как из неё стрелять. И тут же, кстати, выведу от комендоров, что по артиллерии хорошо налажено и что плохо, понимающие ли у них офицеры и как они относятся к своим обязанностям. И выходит, что за меня

смотрит сотня пар глаз, соображает сотня голов. А разве эти комендоры будут так говорить с командиром, как говорят они со мной? Да теперь я и сам замечаю всякие недочёты на корабле.

Вижу я, что мой барин всё больше и больше прислушивается к моим словам. Другой офицер на его месте обиделся бы и выругал бы меня последними словами. А этого нет. Надо, думаю, воспользоваться этим.

И вот однажды ночью, за выпивкой, я докладываю своему барину всё, что узнал по артиллерии. Он спокойно выслушал меня и берёт книгу приказов. Когда он пьяный, то голова у него лучше работает, острее соображает. Пишет и каждое слово произносит вслух. Приказ начинается так: «Мною замечено...» И давай перечислять всё, что я наговорил ему: «Катки, на которых вращается башня, проржавели, башня идёт со скрежетом, — пожалуй, когда-нибудь и совсем остановится. При зарядании двенадцатидюймовых орудий нет взаимного смыкания. Заряжают их чересчур медленно, так что между выстрелами проходит три минуты, а полагается не больше двух...» Я тут подсказываю барину:

— Ваше высокоблагородие! Когда мы стояли в Тулоне, мне удалось побывать на французском военном корабле. Там заряжают такое же орудие в полторы минуты.

Командир подтверждает: верно, — в артиллерийском деле корабли передовых стран Европы далеко опередили нас. И продолжает гвоздить в приказе дальше: «Повседневной проверки орудий, готовности их механизмов к немедленному действию не производится. Трущиеся части у некоторых орудий покрашены, что влечёт за собою затруднённое действие механизмов. Комендоры-наводчики не обучаются наводке днём, а ночью совсем не прак-

тикуются. Температура в крЮйт-камерах и погребам держится неравномерная: то очень низкая, то очень высокая против установленной нормы. От этого порох разлагается, выделяет особые газы, — они могут самовозгореться. Тогда броненосец со всеми людьми взлетит на воздух. Такие случаи уже бывали с военными кораблями...» Заканчивается приказ строгими выговорами: старшему артиллерийскому офицеру, младшему артиллерийскому офицеру, башенным командирам, кондукторам, — с предупреждением, что, если подобная распушенность будет продолжаться, то виновники пойдут под суд за невыполнение распоряжений.

Командир прочитал мне приказ и спросил:

— Ну как, Захар?

— Складно, ваше высокоблагородие, получилось. На корабле нужна строгость. Иначе нельзя. А вдруг война? Тогда пропадай всё?

Командир доволен.

— А теперь, сирень персидская, давай выпьем.

На второй день он для близиру заглянул в башни, а потом послал меня с книгой приказов к виновникам:

— Пусть прочтут и распишутся.

Эх, что с ними было, с этими офицерами и кондукторами. Читают приказ, а сами бледнеют, и краснеют, и дергаются, и губы кривят. Я смотрю на них и как будто ничего не знаю. И сейчас же они отправляются к орудиям, лезут в подбашенные отделения, в погреба, всюду заглядывают. День и ночь люди в работе — прямо нарадоваться нельзя.

А я тем временем начал таким же манером изучать минное дело. Сначала мне пришлось прочитать об этом книжонку. По правде сказать, первое время я плохо в ней разбирался. А когда минеры показали мне всё на практике, для меня многое

стало ясным. Теперь мина Уайтхеда хорошо знакома мне. Какое страшное орудие придумано против человека!

По минной части я сделал командиру подробный доклад, — столько пересчитал недочётов, что пришлось по два раза загибать пальцы на обеих руках. Командир даже испугался. Я сейчас же подал ему книгу, а он давай в неё строчить, и всё по пунктам.

Вот что выяснилось насчёт хранения мин. Воздухонагнетательные машины работают плохо, воздух накачивается медленно, чем затягивается время приготовления мины к действию. Нет многих ключей для обращения с минами. Болты для присоединения боевых зарядных отделений не подходят к гайкам, резьба у многих сорвана, поэтому зарядное отделение может оторваться от резервуара сжатого воздуха. Машинные регуляторы не ставят на место — пружины нажимают и не отдают, из-за чего они слабеют. Запирающие клапаны травят воздух. Не всегда стопора находятся на гребных винтах, а это может вызвать неожиданную работу гребных винтов и привести к несчастным случаям. Гребные винты проворачивают не ежедневно. Боевые зарядные отделения, как и запальные стаканы, не смазаны, ржавеют, взрывчатое вещество начинает разлагаться, угрожая взрывом в погребе.

Не лучше обстоит дело и на минных учениях. При снаряжении ударника по халатности забывают поставить капсуль; такая мина не взорвётся, хотя бы и хорошо попала в неприятельский корабль. При постановке ударника не пользуются кожаными прокладками, чтобы предупредить проникновение воды в него, и, таким образом, грозное оружие превращается в самодвижущуюся игрушку. При проверке работы машин и других приборов не про-

веряется вывод рулевого стопора, что может привести к неправильному ходу мины на определённой глубине. Когда откачивают воздух, то не продувают разделителей, поэтому вместе с воздухом падает масло и вода, что приводит к загрязнению приборов и неправильной их работе.

Много ещё пунктов — написал командир. Пора, дескать, покончить с этой нетерпимой расхлябанностью. Мы плаваем не ради своего удовольствия, а для того, чтобы приготовить весь личный состав и корабль к будущей войне. Словом, здорово раздраконил старшего и младшего минных офицеров. В заключение распорядился, чтобы они производили минное учение со своими подчинёнными каждый день. А старшему офицеру приказал следить за этим.

На следующий день, так же, как и в первый раз, командир для вида спустился в минные погреба, а потом заставил минёров зарядить и разрядить минные аппараты. На это у него ушло времени не больше получаса. Минные офицеры спохватились, когда он уже возвращался к себе в каюту. После этого я понёс им книгу с приказом. Как раз в это время младший из них находился в каюте старшего минного офицера. Обоих, лейтенанта и мичмана, точно поленом огрел этот приказ: то они в книгу заглянут, то посмотрят друг на друга... Один лупит глаза, как будто ополоумел, другой морщится и моргает, будто заплакать собирается.

— Как говорится, продраили нас обоих с песком, — заговорил, наконец, лейтенант.

— Это жестоко! — пропищал мичман.

— Пришло же старому чорту в голову не вовремя проверить минное дело! А потом эта книга приказов пойдёт в Главный морской штаб. Какое мнение там сложится о нас?

— Какой позор! — воскликнул мичман и ухватился за голову.

Оба они настолько были взволнованы, что даже забыли о моём присутствии. Разве можно так разговаривать о командире при нижнем чине?

Не хотелось им расписываться, а всё же тому и другому пришлось приложить руку под приказом.

Другие старшие специалисты, как увидели, что дело пошло у нас всерьёз, прилежнее стали работать. Но мне казалось, что всё ещё мало сделано. Я продолжал действовать. Много слабых сторон у нас было в машинах и кочегарках. Судовое расписание не удовлетворяло, — можно его иначе сделать и будет лучше. Командир только приказы пишет: «Мною замечено» и так далее. Некоторые из них читали на шканцах во всеуслышание. А приказы эти были настолько резки, что у многих от них поджилки тряслись. Должно быть, из-за своей мадам командир ненавидел офицеров, как крестьяне — конокрадов.

Но случалось, что командир рассердится на мой доклад и начнёт кричать:

— К чорту всё это! Пропадай он пропадом, весь наш корабль! Чтoб его бурей вдребезги разнесло! Надоел мне и весь наш идиотский флот!..

А когда выпьет водки и остынет, я опять тихонько к нему подъезжаю:

— Приказик-то, ваше высокоблагородие, всё-таки следует написать. Раз вы взялись порядки на судне наводить, то нельзя на полпути останавливаться. А то офицеры будут смеяться. Скажут, что нехватило у вас пороху, и вы отступили.

— Э, чорт, давай книгу приказов!

А для меня это было большой радостью, потому что корабль наш становился всё лучше.

Командир редко появлялся среди команды и непосредственно почти не имел с нею никакого

дела. И всё же какая-то невидимая близость между ним и матросами всё выростала и крепла. На него они смотрели как на хорошего человека и честного начальника. Я со своей стороны подогревал эту любовь к нему и всячески поднимал его авторитет. Без этого, думал я, нам трудно управлять кораблём и поднять по-настоящему его боевую мощь. Иногда приходилось мне что-нибудь придумывать в пользу командира. Для этого я выходил на бак. Ко мне обращались матросы:

— Ну, как поживает наш командир?

— А что ему делается? Живёт хорошо.

— Что-то он редко показывается нам.

— А зачем ему показываться? Он и без того всё знает, что делается на судне.

— Откуда же он всё знает?

— Кое-что докладывает ему старший офицер и старшие специалисты. Случалось, что они хотели надуть командира. Но куда там! У него глаз, как алмаз, — насквозь всё видит. Этот человек только взглянет издали на пушку и уже знает, в каком состоянии она находится. По слуху он может определить, как работают главные машины. Возьму, например, себя: я только подумаю о чём-нибудь, а он уже мне говорит, какие у меня мысли. По лицу и по глазам узнаёт мои думы, словно колдун. Вот каков командир! А кто о команде больше всех заботится? Только он один. Сколько раз я слышал, как он жучит офицеров, чтобы они не обижали матросов.

Вот в таком роде я понаговорю о своём барине, а после этого уже сами матросы начинают хвалить его на все лады:

— Ну, с таким командиром плавать можно.

— Во всём флоте не найдёшь такого начальника.

— Вот это командир! За него мы в огонь и в воду полезем. Только скажи он нам слово.

Но команду одними словами не возьмёшь, — подавай ей факты. А они были налицо. Взять, например, нашего ревизора, лейтенанта Сухова. Это — тот самый Мишель, который с моей барыней путался. Он и теперь очень увлекается женщинами и в то же время говорит о них всякие гадости. Матросы знали, что он наживается на командных харчах. Помогал ему в этом баталёр. Между прочим, про офицеров, как я теперь узнал, зря говорят насчёт воровства. Кроме своего жалованья, откуда у них могут быть безгрешные доходы? Ни деньгами, ни харчами они не ведают. А пушки, снаряды и мины куда ведь не продашь. Другое дело ревизор. В его руках находится вся отчётность. Он оплачивает все счета. Вот ещё разные чиновники во флоте, — из них мало честных найдёшь. Может и командир судна поднажиться, если захочет: на ремонте корабельных частей в иностранном порту, на покупке угля, машинного материала. Но для этого ему нужно сговориться со старшим механиком. А разве мой барин пойдёт на такие дела? Во всём флоте это самый честный человек. Беда его была в том, что он ничего не знал о проделках ревизора и во всём доверялся ему. А тот пользовался этим доверием и набивал деньгами свои карманы.

Команда не любила лейтенанта Сухова. Одно время он наладил кормить команду вермишелью. Как известно, в Италии этот продукт и макароны стоят дёшево. Любят итальянцы эту пищу. Недаром их называют — макаронники. Ну, а нам побольше щей давай и каши. Всем надоела вермишель, да при том ещё жиденькая, без навара. Заглянешь, бывало, в котёл для девятисот человек, а там плавает всего лишь несколько звёздочек жира.

И решили матросы отомстить ревизору. Однажды вечером он долго засиделся в канцелярии, а когда вернулся к себе в каюту, то вскипел от гнева: на переборках, на столе, на книгах, на отчётности, на одежде, в карманах, в шкафу — всюду была вермишель. На это ушло её, вероятно, не меньше ведра. Ревизор бросился с жалобой к командиру. А кто виновники? Разве их найдёшь среди девяти-сот человек?

В этот вечер командир спросил меня:

— Как ты, Захар, думаешь, за что это так матросы мстят ревизору?

— Зря, ваше высокоблагородие, ничего не делается. Значит, есть у них на это причины.

— Какие?

Через юнгу я уже знал, как ревизор вместе с баталёром обворовывает команду. Я рассказал об этом командиру. Он разгорячился и хотел сейчас же вызвать к себе лейтенанта Сухова.

— Я упеку этого дамского кавалера в тюрьму!

Я посоветовал барину подождать с этим делом. Получилось у нас как нельзя лучше. Рано утром отпустили для камбуза свежего мяса. Я намекнул командиру:

— Пора, ваше высокоблагородие, проверить дамского сердцегрыза.

Он назначил комиссию из трёх человек: строевой офицер, старший механик и врач. Взвесили они мясо, подсчитали число порций — нехватает на триста человек. Взяли за жабры баталёра. А тот малый был дурковатый и сильно испугался. Ну, и давай он все выкладывает начистоту и сваливать на ревизора: какие и где взятки брали, как составляли фальшивые счета. Комиссия проверила эти счета. Все показания баталёра подтвердились полностью. Можно сказать, поймали воров с полным. Командир об этом отдал приказ, который

прочли на шканцах. Ревизор и баталёр пошли под суд.

Команда ещё больше уверилась, что командир на их стороне.

Однажды командир спросил меня:

— Откуда ты, хитрец, взялся? Кто родил тебя?

— Родила меня, ваше высокоблагородие, крестьянка. Однажды она пошла в лес за грибами, а тут вздумал я не во-время появиться на свет. Пришлось ей постелить в кузов травки и, вместо грибов, принесла меня домой.

Командир насупился и что-то долго соображал.

— Жаль, очень жаль, что твоя мать срок не уловила. Тебе следовало бы родиться либо позднее, либо лет на сто раньше, и не в России, а во Франции. Ты что-нибудь слышал про Наполеона?

— Это что Москву забирал? Кто про него не слышал? Самый, говорят, умный император был. Своих царей русский народ не знает, а его во всех деревнях знают.

— Так вот, Захар, если бы ты при нём был, то из тебя вышел бы большой человек. Может быть, я был бы при тебе адъютантом. А у нас, в России, лакеем ты служишь у меня, лакеем и останешься. И даже я могу тебя произвести только в унтер-офицеры. Дальше этого нет тебе ходу.

— Да мне ничего и не надо, ваше высокоблагородие. Я только хочу, чтобы наше судно было лучше всех иностранных кораблей. Нравится мне морское дело.

Ну, действительно, подняли мы свой броненосец — теперь хоть куда! Даже в Англии не стыдно появиться. Молодец командир! Хоть и ненормальный немного, но без жены он здорово поумнел.

ХII

К нам подошёл, держа под руку девицу, молодой белокурой матрос, сослуживец Псалтырёва, и бойко проговорил:

— Захару Петровичу почёт и уважение.

— Наше вам низжайшее, Яшенька, — ответил Псалтырёв.

— Не приходил наш катер?

— Нет. Но скоро, вероятно, будет. А ты сегодня с подругой по парку лавируешь?

— Да, лучше не собьюсь с курса.

Девица, низкорослая и полногрудая, с накрашенными губами, с рыжими локонами, прищурив хмельные глаза, вызываяще рассмеялась:

— Все порядочные моряки с женщинами гуляют. Только вы, как два бирюка, в такой холод сидите на скамейке. Не прошибло вас цыганским потом?

— Не всем выпадает такое счастье, как нашему Яшеньке.

Пара немного поболтала с нами и удалилась.

— Тоже вестовой. Обслуживает нашего старшего офицера, — промолвил Псалтырёв и снова начал рассказывать о своём плавании.

Сначала нашей эскадрой командовал контр-адмирал Вислоухов.

На эскадре он прославился своими причудами. Он, например, любил задавать команде разные вопросы. И тут ты можешь врать сколько угодно, но обязательно должен браво ответить, — в молодцы попадёшь. А если будешь молчать, то обзовёт тебя дрянью, дураком, болваном. А вопросы у него были всякие:

— В каком море был Синопский бой?

— В Балтийском, ваше превосходительство.

— Неможно ошибся, голубчик. Этот бой был

в Чёрном море. Запомни это. А в общем, молодец! Хорошо отвечаешь.

А ещё с ним так бывает. Пусть матрос на карачках ползает по мостовой и весь в пыли, но только честь адмиралу отдавай — ничего не будет. Даже похвалит такого:

— Вот этот моряк — пьяный, а сознания не теряет.

Другой матрос до того наспиртуется, что валяется на улице, как бревно, — ни рукой, ни ногой не шевельнёт. Вислоухов обязательно свернёт к нему и начинает рассматривать, куда у него голова направлена: если в сторону пристани, то не будет ему никакого наказания. Адмирал только скажет:

— Бедняга! Ведь верный курс держал — прямо на корабль. Но перегрузил себя и в пути застрял.

И наймёт на свой счёт извозчика, чтобы доставить пьяного матроса на пристань.

Но если матрос лежит головой в сторону от пристани, то уж без наказания ему не обойтись. Адмирал начнёт причитать над ним:

— Ах, подлец! Хотел убежать с корабля. Не удался мерзавцу план — водка помешала.

Сейчас же разыщет патрульных и прикажет им:

— Отволоките этого гогодя на пристань. Пусть дежурный офицер передаст на корабль моё распоряжение — посадить беглеца на пять суток в карцер.

Однажды адмирал Вислоухов приехал к нам на судно, и я видел его. Телосложением старик напоминал богатыря. Сивая борода у него, словно пучок кудели, расстилалась во всю грудь и даже прикрывала ордена. Адмирал задрал голову и прошёлся вдоль фронта медленно и с таким видом, как будто хотел доставить нам удовольствие: подольше, мол, полюбуйтесь мною. Офицеры зара-

нее нас предупредили, да и сами мы знали, что он любит строевое учение и маршировку. В это время каждый матрос должен приставить одну ногу к другой как можно громче. По распоряжению адмирала старший офицер скомандовал нам два раза «кругом», а потом:

— Три шага вперёд — арш!

Не очень складно у нас вышло, но зато от наших ног вздрогнула палуба броненосца.

Адмирал остался доволен. Нашим броненосцем он не интересовался. Не было сделано ни боевой тревоги, ни пожарной, ни водяной. Фронт распустили, а сам начальник эскадры ушёл в кают-компанию, где в честь его приготовили богатый обед с выпивкой. Офицеры пили шампанское, кричали «ура» и всячески прославляли адмирала. Часа через три два мичмана вывели его на верхнюю палубу. Он шёл и пошатывался. Командир и остальные офицеры сопровождали его. Вдруг он остановился и приказал:

— Вызвать наверх какую-нибудь роту и построить её повзводно. Барабанщика с барабаном — ко мне.

В одну минуту распоряжение адмирала было выполнено.

Он обратился к старшему офицеру:

— Пусть рота помарширует по верхней палубе, а вы будете командовать.

Потом повернулся к барабанщику:

— А ты, голубчик, стой здесь и ударь на своём инструменте так, чтобы за сердце хватало.

Раздалась команда, рота зашагала. Барабанщик так старался, что готов был пробить натянутую кожу на своём инструменте. Офицеры едва сдерживали себя от смеха. Командир смотрел на всю эту комедию угрюмо.

Адмирал кивал головою и говорил:

— Так, так... Хорошо, очень хорошо!..

Его водянисто-белёные глаза часто заморгали. По лицу покатались слёзы и застряли в сивой бороде. Он поднял руку и сказал:

— Довольно!

А потом, словно отец при прощании со своими сыновьями, он тихо и ласково наставлял наше начальство:

— Нужно, господа офицеры, любить барабан больше, чем всякую другую музыку. Не стыдитесь, если его божественные звуки вызовут у вас слёзы. Это значит, что вы настоящие воины.

Адмирал взглянул на командира и почти дружески сказал:

— Вы должны каждый день устраивать такие репетиции.

Лезвин стал возражать:

— Конечно, ваше превосходительство, как военные люди, мы все должны знать повороты направо и налево, а также маршировку, но постольку, поскольку это необходимо. А делать на это упор я нахожу не совсем целесообразным.

— Почему?

— Мы готовим людей не для того, чтобы маршировать на плацу, а хорошо управлять боевым кораблём.

Адмирал рассердился и так дернул себя за бороду, как будто хотел вырвать её. Глаза его стали сухими. Он задвигал бровями и раскричался:

— Вы, очевидно, примиритесь даже с тем, что матросы на корабле будут ходить, как деревенские бабы за грибами. Нет-с! Этому не бывать! Если я что-нибудь приказываю, то у меня на плечах голова. Что же, по-вашему, я дурак или идиот? Я спрашиваю вас, господин капитан первого ранга Лезвин, — дурак я или идиот? Будьте любезны ответить мне на мой вопрос.

Командир смотрел на адмирала с какой-то брезгливостью и резко отчеканил:

— Никак нет, ваше превосходительство, вы — не дурак и не идиот. Но мне казалось, что лучше было бы...

Вислоухов вдруг смягчился:

— Пусть в следующий раз вам не кажется... Начальник эскадры лучше знает, что хорошо и что плохо. А ваше дело точно исполнять мои приказания.

Адмирал мирно, как будто ничего не произошло, распростился с командиром и другими офицерами и зашагал по палубе. Два мичмана помогли ему спуститься по трапу и сесть на паровой катер. Катер дал свисток и направился к флагманскому кораблю.

Зачем, спрашивается, приезжал к нам адмирал? Он, наверное, думает о себе, что без него наша эскадра развалится, словно плохо увязанные дрова с воза. На самом же деле такой начальник нужен для неё, как лесной клещ для скотины.

Один матрос сказал о нём:

— Ничего у нас адмирал — солидный, но уж очень умом пообносился.

В эту ночь мой барин был угрюм и почти не разговаривал со мною. Он молча наливался алкоголем и раздражённо плевался в ответ каким-то своим мыслям. Я даже стал бояться, как бы что с ним не случилось.

Когда наша эскадра пришла в Тунис, адмирал Вислоухов уехал в Россию. Он до этого хворал недели две, а тут ему стало хуже. И знаешь, кто явился на его место? Контр-адмирал Виктор Григорьевич Железнов. В нашей кают-компании офицеры говорили, что этому начальнику эскадры очки не вотрешь, — понимающий моряк. И матросы с флагманского корабля хорошо отзывались о нём:

— Серьёзный адмирал и справедливый.

Но никто так не волновался, как я. Неужели и вправду он приходится мне тестем? Может быть, кухарка зря сболтнула, что она с ним прижила Ваю? Эти думы не давали мне покоя. Уж очень несуразные неожиданности иногда получаются в жизни. Официально адмирал имеет двух детей — сына и дочь. Он сам догадывается, что они не его крови. И родились они от женщины, которую он ненавидит. Она для него не подруга, а ведьма с Лысой горы, как говорит наша кухарка. И всё же он воспитал своих неродных детей по-настоящему, не жалел для них денег. Дочь его вышла замуж за профессора, сын женился на богатой и знатной баронессе. А вот о родной дочери, которая родилась от любимой женщины, адмирал мало беспокоился. Правда, он помог ей стать на ноги, но это всё пустяки в сравнении с тем, что он сделал для официальных своих детей. И, пожалуй, его прямо-таки возмутило бы, если бы за меня вышла замуж не Валя, а его другая дочь, хотя она и не родная ему. Получается: может быть, у мужчин нет совсем отцовских чувств, а есть только привычка к детям? Или он боялся мнения людей своего круга?

Итак, тесть — адмирал, а зять — вестовой. Захотелось мне во что бы то ни стало посмотреть на него и самому убедиться, насколько моя Валя похожа на своего отца. Побывал он у нас на «Святославе», но я в это время находился на берегу. Рассказывали мне, что адмирал Железнов нашёл кое-какие недостатки и сделал выговор нашим офицерам. Мы тогда ещё не успели навести порядки. Потом мы стояли в Алжире. Я нарочно ездил на флагманский корабль, чтобы взглянуть на своего тестя. И опять мне не пришлось встретиться с ним: он не вышел из каюты. Только в

Александрии, и то издалека, я увидел, как он садится в катер.

За все время плавания Валя не выходила у меня из головы. Через месяц, как мы разлучились, я получил от неё письмо, сообщила, что беременна. Но она нисколько не раскаивается, что сошлась со мною, а ещё пуще прежнего любит меня. Поверишь ли ты, я плакал над её письмом. Вот до чего она растрогала моё сердце. Из каждого порта я посылал ей письма и в каждом порту получал от неё ответы. Советует мне больше заниматься самообразованием и всячески подбадривает меня. По её словам, у неё теперь только два друга — мать и я, а потом будет ещё тот, кто родится. И верит, что я никогда её не брошу. Да разве такую подругу бросишь? Я даже стихи о ней начал писать.

Бывало, после полуночи, когда уснёт мой бабин, выйдешь на верхнюю палубу, устроишься где-нибудь на рострах и долго сидишь один со своими думами. Эскадра в походе. На нашем броненосце, кроме вахтенных, все спят. А он дымит двумя трубами и, словно от радости, вздрагивает в тёплом сумраке. За бортом ласково воркуют небольшие волны. Небо блещет яркими звёздами. Может быть, и она, моя Валя, сейчас смотрит на небо? Мысли уносят меня через огромные пространства в знакомую комнату. И тогда я больше не вижу ни моря, ни эскадры, не слышу звона отбиваемых склянок. В воображении она рядом со мною. В моих ушах звенит говор и смех моей возлюбленной. Я ощущаю на своих щеках её дыхание, на губах — её поцелуи, вокруг шеи захлестнуты её руки.

Мне уже удалось прочитать порядочно книг о любви. Что же всё-таки это такое — любовь? Каждый писатель решает этот вопрос по-своему.

Я не писатель, но Валя пробуждает во мне разные мысли. На всё хочется иметь своё определение. Соловей только потому хорошо поёт, что где-то в кустах его слушает соловьица. И каждый из людей по-своему поёт для своей соловьицы: один играет на скрипке, другой картины пишет, третий что-нибудь изобретает, четвёртый мошенничает и так далее. И мне хочется хоть чем-нибудь удивить и обрадовать мою Валу. Я занимаюсь самообразованием и напрягаю свой мозг, чтобы быть образованным человеком. Вытянусь в ниточку, а своего добьюсь.

Иногда приходит мне в голову такое сравнение. Нужно, скажем, кораблю перейти в другой порт — за три тысячи морских миль. Что для этого делается? Командир отдаёт распоряжение, куда идти, и корабль снимается с якоря. У штурмана давно уже на морской карте проложен курс к определённой маяку. Какие испытания предстоят этому судну в пути? Девиация компаса и склонения компаса будут сбивать его с намеченного курса. Но хороший и опытный штурман примет всё это во внимание и внесёт свои поправки. Найдутся и ещё помехи для корабля — побочные течения или сильные ветры будут сносить его в ту или другую сторону от намеченного курса. Опять потребуются поправки. На пути могут встретиться подводные рифы. Их придётся обойти. Наконец, могут обрушиться на него такие встречные бури, когда чёрные тучи смешаются с вздыбившимся морем. Кругом даже днём ничего не видно, а ночью и подавно. Случается, что машины работают во всю мочь, чтобы двигать корабль вперёд, но буря, словно таранами, бьёт в его скулы волнами и отбрасывает назад. И всё же, хоть с опозданием, он придёт к тому маяку, к какому нужно.

И каждый человек, по моему мнению, должен избрать себе в жизни какой-то маяк и стремиться к нему, как тот корабль, о котором я рассказал: кто хочет стать инженером, кто — учителем, кто — офицером, кто — борцом за правду. Много неприятностей человек будет встречать на своём пути. Но если он не сломается, то не может того быть, чтобы перед ним не засиял радостный луч его маяка.

Долго я тревожился за Валю, много дум передумал о ней. Наконец она известила меня: родила сына и назвала его, в честь моего отца, Петром. Я мысленно кричу ему:

— Ну, сынок, расти и занимай своё место на земле!

В эту ночь я ставлю для барина на стол выпивку и закуски, а сам не могу удержаться от улыбки. Вся кровь играет во мне. Командир заметил мою радость и спрашивает:

— С чего это ты сегодня сияешь так?

Я сочиняю ему:

— Интересный сон видел, ваше высокоблагородие.

— Какой же?

— Полюбила меня одна принцесса. Красоты она необыкновенной. Богатствам счёту нет. Женился я на ней. И она родила мне сына. Такого славного мальчика свет ещё не видывал. Бегает он по лугам, а я не могу на него налюбоваться. Слышу команду: «Вставай! Койки вязать!» До чего же мне не хотелось расставаться с таким сном, а пришлось вскочить.

Командир смеётся:

— Странно. Всё у тебя произошло в одну ночь: и принцесса полюбила, и женился на ней, и сын родился, и уже по лугам он начал бегать.

Хоть и сильно я люблю Валю, но вместе с тем продолжаю следить за порядками на корабле. Уж

больно мне нравится морское дело. Жаль, что прав у меня нет. Приходится под чужим флагом работать. Да это меня мало беспокоит. Лишь бы наш «Святослав» был на лучшем счету.

В заграничном плавании хоть не отпускай команду на берег — напивалась она зверски. Каждый раз при возвращении на корабль несколько десятков матросов приходилось поднимать на талях. Сколько было срамоты перед иностранцами.

Возьмем, например, нашу стоянку в Марселе. Ночью вернулись с берега шлюпки. На них сорок человек находились в таком состоянии, что ни рукою, ни ногою не могли пошевелить. С помощью талей подняли их на палубу; переписали фамилии. По распоряжению старшего офицера, разостлали на баке брезент. На него, как трупы, уложили рядами пьяных. Другим брезентом покрыли, чтобы не простудились за ночь. Утром послышалась дудка, а вслед за нею раздалась команда вахтенного унтер-офицера:

— Все пьяницы на шкафут! Выстроиться во фронт!

Пришёл старший офицер. Большие усы у него были закручены вверх и напоминали два серпа. Ему нравились те матросы, которые ухаживали за своими усами. В голове у него, можно сказать, были какие-то странные выверты. Когда он подходил к фронту, то всегда первым делом отдавал приказ:

— Подкрутить усы!

Так он поступил и на этот раз. Все сорок человек, что выстроились в одну шеренгу, взмахнули руками к носу. Сделали это и те молодые матросы, у которых на верхней губе пробивался только пух, как у цыплёнка. Через минуту усы были подкручены. Старший офицер скомандовал:

— Смирно!

Он прошёлся вдоль фронта, строго посмотрел каждому в лицо и заговорил:

— Надрызгались вчера, да? Меры не знаете, да? Можно с такой швалью управлять кораблём, да?

Накануне, по случаю своих именин, он сам всю ночь пил в кают-компанин. Пьяницы молчали. Они хорошо знали, что за этим последует, и не ошиблись. Старший офицер зашёл с правого фланга и начал всех подряд награждать пощёчинами: то с правой, то с левой руки. Каждый матрос по два удара получил. По-настоящему, хлётко бил. Казалось, что таким манером он свои мускулы развивает. Только один матрос был обойдён. Уж очень у него усы были красивые: чёрные, как вороново крыло, и так лихо расстилались по его курносому лицу, что у начальника рука не поднялась на такого молодца. Остальные матросы все получили свою порцию. Старший офицер выполнил своё дело и распорядился:

— Вахтенный! Передай боцману Кудинову, чтобы он поставил их на работу. Одни пусть медяшку надраивают, другие ржавчину отбивают с якорного каната.

Потом вызвал баталёра и приказал ему:

— Выдать им всем по чарке водки за мой счёт.

Обидно мне было, что наша команда в иностранных портах так конфузит русский флот. Стал я придумывать меры против этого. Сначала нужно было избавиться от штрафных и всякой швали. Человек пятнадцать у нас было неисправимых. Сами они ничего не делали и других развращали. И в особенности один из них этим отличался — матрос Луконин. Он прослужил двенадцать лет, а ему ещё осталось дослуживать пять. Что это значит? Десять лет с перерывами он провёл в дисциплинарных батальонах. А это не засчиты-

вается в срок службы. Но Луконин не унывал и посмеивался сам над собою:

— Тяну и тяну военную лямку, а конца всё ещё не видать. Значит, я вдоль службы попал.

Я рассказал обо всём командиру и стал уговаривать его, что не мешало бы, мол, сократить это пьянство. И подал ему список тех матросов, каких нужно списать с судна. Сначала он заупрямился. На корабле он сам был первым алкоголиком, и ему, очевидно, стыдно было наказывать людей за пьянство. Я некоторое время подождал. А когда барин захмелел, я подсунул ему книгу приказов. Взял он в руки перо и начал строчить. Получилось у него замечательно: не приказ, а проповедь! Всё изложил: и как позорно военному человеку напиваться, и как это вредно для здоровья, и как алкоголь иногда ломает человеческую жизнь. Посторонний человек подумает, что такой приказ мог написать только командир, который, кроме причастия, ни капли не употреблял спиртных напитков. Прочитал он мне своё сочинение, погладил ржавую бороду, как-то криво усмехнулся и сказал:

— А теперь, Захар, давай ещё выпьем по стаканчику.

Приказ был отдан. Через несколько дней подвернулся русский коммерческий пароход. Пятнадцать человек пьяниц из команды в сопровождении строевого унтер-офицера были отправлены на нём в Кронштадт. После этого пьянство на корабле стало сокращаться.

XIII

Захар Псалтырёв закурил папиросу.

Из-за облаков выглянуло солнце. Засверкали сияющими бликами взъерошенные воды залива.

Налетевший ветер закачал деревья, срывая с них осенний наряд. В воздухе, падая, закружились пожелтевшие листья. Освещённые лучами, они были похожи на тончайшие пластинки золота.

Я спросил:

— Что же, командир всех офицеров так жучит?

— Больше всего он не любит красивых и дамских кавалеров. Им достаётся от него. Значит, здорово они обожгли ему сердце. А чем непривлекательнее был офицер, тем лучше относился к нему мой барин. Я тебе расскажу об одном таком чуде. Служит он у нас на судне старшим штурманом. Фамилия его какая-то нелепая, не офицерская — Подперечицын.

Этот лейтенант не прожил и тридцати лет, а разбух, как тесто на хороших дрожжах. Ростом — средний, но очень широк телом. Весом — не меньше семи пудов. Говорят, это у него от какой-то болезни — такая ненормальная толщина. Лицо красное и круглое, как надутый шар. А на рыжих усах скромно приютился маленький носик, точно голенький воробьиный птенчик на гнезде. Кажется, у лейтенанта совсем нет костей. Лопни у него кожа, он сразу весь расплескается кровью, и от человека останется вроде пустого мешка.

Штурманское дело он знает неплохо. Насчёт курса у него не бывает ошибки. Наше судно вышло из Кронштадта в заграничное плавание на три дня позднее эскадры. Мы должны были с нею встретиться в Шербурге. Не успели мы выйти из Финского залива, как навалился на нас такой густой туман, что ничего вокруг не видно. Он нас сопровождал несколько дней. Так прорезали мы, словно окутанные непроглядным дымом, Балтику, Немецкое море, Ламанш и вошли в порт Шербург. Подперечицын во всё время пути вёл броненосец только по счислению и по прокладке. Где ещё

такого моряка сыскать? По ходатайству командира, его произвели в штурманы первого разряда.

Но если не было опасности, он относился к своим обязанностям спустя рукава, точно исполнял что-то постороннее и ненужное. Бывало, появится в ходовой рубке с таким усталым и сонным видом, как будто не спал несколько ночей. Заглядывает он в свои морские карты, а сам то и дело раскрывает рот и зевает с каким-то усыпляющим завыванием. И удивительно — это действует заразительно и на других. Минут через десять, кто бы в рубке ни находился, — все начинают зевать. Я и на себе это испытал. Иногда даже боязно было, что люди на вахте могут заснуть.

Команда посмеивалась над старшим штурманом, но любила его. Офицер этот редкой доброты. На вахте ни одного скверного слова от него не услышишь. С матросами он дружит, держится с ними запросто и пишет за них письма к их родственникам. А своим сигнальщикам и рулевым даже сочиняет любовные письма, и всё в стихах.

Но вот что произошло из-за штурмана с сигнальщиком Хлудовым. На судне у нас нет такого здорового верзилы, как этот сигнальщик, и силу имеет он непомерную. Но очень внешностью нескладный человек: жилистый и узловатый, как дубовые корни, чернобородое лицо, широкое и рябое, как решето, рот почти до ушей и похож на пасть. Такой же он сонуля, как и Подперечицын. Заражался он зевотой от своего начальника первым. И вот однажды после обеда стоят люди на вахте и, по обыкновению, все зевают. А сигнальщик Хлудов так раскрыл рот, что у него вывихнулись челюсти и нельзя было их сомкнуть. Но это только потом узнали, в чём дело, а сначала никто ничего не мог понять, что случилось с че-

ловеком. Рот у него так раскрыт, что можно видеть горло и маленький язычок; кривые зубы оскалены, глаза вывернуты наизнанку. Что-то он машет руками и вместо слов издаёт рычание. Всем жутко стало. Вдруг он бросился к вахтенному начальнику графу Эверлингу — должно быть, хочет что-то сказать ему и не может. А тот отпрыгнул от него на целую сажень, как от страшного привидения, тоже почему-то замахал руками и завспил, точно испуганный ребёнок:

— Вахтенный! Караул наверх! Вахтенный! Связать сумасшедшего!

Сигнальщик рычал, рычал, потом повернулся и побежал по трапам вниз. За ним ударились вахтенные матросы, но поймать его никто не осмелился — бешеный. Может сразу сокрушить человека. На судне начался переполох.

Граф долго не мог притти в себя, дрожал и, наконец, обратился к штурману:

— Что же это такое? Надо поймать этого зверя. Он может перекусать людей.

Подперечицын зевнул и ответил спокойно:

— Доктор выяснит.

Оказалось, что сигнальщик и убежал-то к доктору, и тот сразу поставил ему челюсти на место. Вернулся он на мостик какой-то растерянный, с виноватым видом.

— Вобла вяленая, — процедил сквозь зубы граф и отвернулся от него.

С этого дня сигнальщик Хлудов больше всего боялся, как бы опять не повторилось с ним такое несчастье. И в то же время при штурмане никак нельзя было ему удержаться от зевоты. Как тут быть? И приспособился: как только начинает у него раскрываться рот, он мгновенно хватается одной рукой за голову, а другой изо всей силы подпирает нижнюю челюсть.

Командир прощал Подперечицыну все его недостатки и обходился с ним даже ласково. Я, конечно, понимаю, — такой офицер не мог отбить у него жены.

Меня удивлял Подперечицын своей вялостью и равнодушием к судну. Казалось, ничто не могло его взволновать. Возникни пожар в бомбовом погребе или в кюйт-камере, — он всё равно не перестанет зевать. Но нет на свете такого человека, который бы ничем не увлекался. И этот лейтенант очень любил пение. Офицеры говорят, что при высочайшем дворе он был регентом и управлял хором. Всё у него ладно было, но внешность его портила ему карьеру. Главное, знатым дамам он не понравился. Уволили его и послали в плавание. Как только попал он на наш броненосец, сейчас же начал испытывать голоса матросов. Всю команду перебрал. Целый месяц он с этим делом возился и сколотил хор человек в сорок. Я тоже был зачислен в его хор. Когда он с нами занимается, откуда только у него берётся такая бодрость. Заставляет всех изучать ноты, волнуется и готов проводить сёвки круглые сутки. И уж тут ни разу не зевнёт. Словом, у нас теперь такой хор, какого нет ни на одном корабле всего флота.

В праздник, во время обедни, стоит только Подперечицыну взять камертон в руки, как сразу он весь преображается. Для него ничего нет важнее на свете, кроме хора. А как он сам поёт! У него высокий и нежный тенор. Слушать его — душа тает. Если не смотреть на эту ожиревшую семипудовую тушу, то можно подумать — это ангел спорхнул с неба на землю и заливается сладчайшим голосом. Запой он так весной в лесу, все птицы, кажется, замолчат и только будут слушать лейтенанта. Очень мне нравится, когда у нас исполняют «Иже херувимы». Басы, баритоны, тенора

так дружески и складно переплетаются, как будто одна душа поёт. А голос лейтенанта дрожит и выше всех поднимается, словно хочет достигнуть до ушей самого бога.

Раньше, бывало, боцманы и капралы никак не могут загнать матросов в церковь. А теперь, кроме вахтенных, все налицо. Каждому охота послушать хор.

Лейтенант Подперечицын водки в рот не берёт, а главное — совсем не признаёт светских песен. Он пристрастился только к церковному пению. Можно подумать, что это самый религиозный человек и ему только бы монахом быть. А в действительности он, повидимому, не верит ни в бога, ни в чорта. Я был потрясён, когда узнал об этом. Из его хора горе бывает тому человеку, который собьётся с тона. Лейтенант всё может простить, но если врешь в пении — пощады не проси. Однажды со мною так случилось. Запели мы «Спаси, господи, люди твоя», и я сбился с тона. Смотрю, у лейтенанта заплывшие синие глаза стали вдруг злыми, как у разъярённого хищника. Он схватил меня за ухо и так потянул, что у меня, вероятно, рот набок съехал. А сам лейтенант продолжал заливать-ся ангельским голосом. Но только слова молитвы заменял самыми похабными словами.

После обедни он призывает меня к себе в каюту и говорит:

— Ты уж прости, что я погорячился, и вот тебе подарок от меня. — И тут же даёт мне плитку шоколаду. — Только следующий раз не сбивайся в пении. Иначе я не ручаюсь за себя. Ты можешь остаться без уха.

Так он поступает со всеми, кто сбивается с ноты. Сначала накажет, а потом наградит — кого деньгами, кого фруктами, кого запиской на пять чарок водки.

Псалтырёв, разговаривая со мною, иногда отвлекался от своего рассказа.

Коммерческий пароход, проходя мимо гавани, громко загудел.

— Английский купец в Петербург идёт, — отметил Псалтырёв, глядя на пароход.

В гавани паровой катер, сделав крутой поворот, с полного хода пристал к трапу какого-то крейсера.

— Ах, как здорово у него вышло! Какой замечательный глазомер у рулевого! Красота!

Серые, с маленькими точками на роговицах, глаза моего приятеля радостно сияли. Меня удивляла его беспредельная любовь к кораблям. Казаюсь, он смотрел на них с таким же восторгом, с каким смотрит наследник на своё будущее богатство.

Вот теперь я графа Эверлинга узнал как следует. С виду он нисколько не изменился. Как и в Петербурге, каждый день он брился и пудрился, и одет был с иголочки. На чёрном галстуке сверкал бриллиант, как звезда. Раскроет, бывало, свой золотой портсигар, усыпанный драгоценными камнями, и сейчас же раздаётся тихая и очень приятная музыка. Очень этому удивлялись: в такой маленькой вещице будто комариный оркестр играет. Графа побаивались даже офицеры. А матросам не дай бог с ним вместе служить. Он не то, что другие начальники, — не шумел, не ругался и не дрался; и всё же такого пакостного человека не сыскать. Офицеров, и то презирал и почти не разговаривал с ними. А здоровался он со всеми небрежно, подавал одни только пальцы и никогда не пожимал руки. И пальцы у него всегда были холодные. Я, конечно, не щупал их, но знаю об

этом из разговоров в кают-компании. Офицеры прозвали его: граф «Пять холодных сосисок». Эта кличка перекинулась в команду, и все стали его так называть. Если уж к офицерам он относился пренебрежительно, то нечего и говорить о матросах. Они вызывали у него какое-то гадливое чувство. Для каждого из них при обращении к ним у него было лишь одно название «вобла». Для гребцов хуже всего было, когда приходилось куда-нибудь отвозить его на шлюпке. Никак не угодишь ему. Наказывал матросов он всех скопом. Сначала командует:

— Суши вёсла!

А потом прикажет правому загребному:

— Ну-ка ты, вобла вяленая, дай по морде следующему гребцу, а тот пусть передаёт дальше, чтобы кругом пошло!

И матросы начинают лупцовать друг друга. Последним получает удар тот, кто начал, — правый загребной бьёт левого загребного. Пока матросы занимают избиением один другого, граф «Пять холодных сосисок» строго наблюдает за ними. Если ему покажется, что они слабо это делают, приказывает ещё раз повторить. Каждый из них возвращается потом на судно с красной и припухшей левой щекой. Таков был этот начальник из знатного рода. Когда вахта у него, он ходит себе по мостику и покрикивает:

— Фалы подтянуть!

А их уже двадцать раз подтягивали. Прав был соусник: человека узнают по его делам. Очевидно, в морском деле граф понимает не много лучше, чем акула в алгебре. Но всё он что-то строит из себя и всем хочет показать, что он особенный человек. И даже в кают-компании сидит за столом и ни на кого не смотрит. А во время чая всегда одна и та же комедия происходит. Какой бы чай

ему ни подал вестовой — жидкий или крепкий, — он недоволен и приказывает:

— Отлить и долить!

Однажды вестовой ответил ему:

— Отлито и долито, ваше сиятельство.

Граф рассердился:

— В карцер на трое суток!

Но на одного из вестовых он нарвался. Прежний его вестовой заболел, и к нему назначили нового. Этот парень мог хоть кого огорошить. Явился он к графу, а тот посмотрел на него и, должно быть, чем-то остался недоволен. Он ядовито заговорил:

— Послушай, вобла, откуда ты такой дурак взялся?

Матрос был парень развитой и ошарашил своего барина ответом:

— Умных вестовых, ваше сиятельство, назначили к умным офицерам, а меня почему-то к вам приставили.

Граф даже побледнел от злости и сейчас же накатыл рапорт на этого матроса.

Один из наших офицеров нарисовал карикатуру. Стоит граф с протянутой рукой, а на ней вместо пальцев — пять сосисок. Внизу подпись: «Граф «Пять холодных сосисок»». Эту карикатуру послали ему по почте. Эх, и взбеленился он, когда распечатал конверт. Сейчас же к командиру с жалобой. При мне это было, я в спальне находился, кровать своего барина убирал. Граф всегда говорил тихо, а на этот раз раскричался:

— Я не позволю, чтобы надо мною так издевались! Наша графская фамилия — старинного рода, четыреста лет существует. Я требую отдать под суд виновника.

Командир осадил его:

— Напрасно, граф, вы кричите так громко. Мой

слуховой аппарат в полной исправности. Я хорошо услышу вас, если вы будете разговаривать со мною тихо и спокойно. Это — во-первых. А во-вторых, кого же я должен отдать под суд? Кто автор этой карикатуры?

Граф сразу осекся и стал говорить умереннее:

— Это сделал какой-нибудь негодяй из команды. Я раньше слышал, как при моём появлении на палубе матросы повторяли фразу «Пять холодных сосисок». И только теперь стало понятно, в чём дело.

— Так вот что, граф, я должен вам сказать. От этой клички вы никогда не избавитесь. На какое бы вас судно ни перевели, она будет преследовать вас наравне с вашей настоящей фамилией. Почему? Да потому, что нашим матросам никто не запретит встречаться с командой того судна, на каком вы будете плавать. Вот они-то всё и расскажут о вас.

Так граф «Пять холодных сосисок» и ушёл от командира ни с чем.

Кроме меня, никто не знал, кто нарисовал такую карикатуру. А узнал я это случайно. Дня за три до того, как граф получил её, командир послал меня позвать лейтенанта Подперечицына. Я — бегом в его каюту. Стучу в дверь, слышу в ответ:

— Войдите.

Открываю дверь. Лейтенант сидит за столом и смотрит на меня, немного растерянный. Я с порога докладываю ему приказ командира. Он сразу заторопился и начинает собирать со стола какие-то бумаги. Одна из них вылетела из его рук в мою сторону и упала на коврик. Смотрю — боже ты мой! На бумажке нарисован наш граф. Изуродован невероятно, а похож, и всякий может сразу узнать его. Словом, это была та самая карикатура, какую он показывал командиру. Я говорю лейтенанту Подперечицыну:

— Крепко, ваше благородие, вы изобразили здесь его сиятельство. Если эту штуку показать ему, позеленеет, как от морской болезни.

Лейтенант строго спрашивает меня:

— Ты можешь держать язык за зубами?

— Когда нужно, я бываю немой, как осётр.

— Значит, никому ни звука об этом.

— Есть, ваше благородие!

Это событие произошло в итальянском порту Генуя. Русская эскадра ещё накануне ушла в Палермо, а наш броненосец «Святослав» на несколько дней остался здесь, чтобы закончить ремонт машин. С двенадцати часов дня граф вступил на вахту. На небе ни облачка, сентябрьское солнце с морем играет, а он ходит по мостику злой, как будто у него печень распухла. Флотскую фуражку с белым чехлом на лоб надвинул и ни на кого не хочет смотреть. Какие мысли в это время копошились в графской голове? К удивлению всех, он ни разу не выкрикнул своей обычной команды, чтобы фалы подтянули. Только через час выяснилось, чем была занята его голова. Он приказал вахтенному отделению выстроиться во фронт на шкафуте. Граф спустился с мостика, обвёл глазами вытянувшихся матросов и спросил:

— Кто из вас любит сосиски?

Все в недоумении молчали. Тогда он отобрал из фронта шесть матросов, какие ему лицом не понравились, и приказал им сесть на шестивёсельную шлюпку. С корабля им подали буксирный трос, закреплённый за кнехт. Когда всё было приготовлено, граф с мостика крикнул, держа перед губами мегафон:

— На шестёрке! Вёсла на вѳду!

И вот шесть человек начали буксировать броненосец водоизмещением почти в пятнадцать тысяч тонн. При полном безветрии пекло солнце. Изги-

балась гребцы, разноцветно вспыхивали лопасти вёсел. От бортов шестёрки разбегалась сияющая рябь. Что переживали ни за что, ни про что наказанные матросы? Они были выставлены на посмешище. Оскорбление их увеличивалось ещё тем, что они занимались бессмысленным делом. Это всё равно, как если бы заставили шесть комаров тащить за волосы человека. Большинство команды вышло на верхнюю палубу. Всем обидно было за своих товарищей, но никто не мог прекратить издевательство графа. И некоторые офицеры возмущались его поступком. Ведь им тоже было стыдно за своё судно. Генуя — мировой порт. Сотни кораблей стояли под флагами разных наций. Со многих из них смотрели в бинокль на такое нелепое зрелище. Сначала они, вероятно, не понимали, в чём дело. Тысячи таких шлюпок не могли бы сдвинуть с места броненосец, стоящий на якоре. А тут русские хотят что-то сделать при помощи только одной шестёрки. Потом-то, конечно, они догадались, что это своего рода наказание для матросов. Сам граф «Пять холодных сосисок» остался доволен своей затеей: ходит себе по мостику, как жених, и закручивает усы в колечки. По временам он направлял мегафон на шестёрку и кричал:

— Эй, вобла! Навались на вёсла!

Вечером, за выпивкой, я нарочно заговорил с командиром о боевой подготовке команды:

— У нас, ваше высокоблагородие, часто бывает так: судьба случайно сведёт матросов с каким-нибудь офицером. И вот они вместе служат, вместе плавают на одном корабле. Для чего? У них одна цель — в случае войны вместе бить врага. Но этот офицер, скажем, чувствует себя временным гостем на судне, со своими подчинёнными никак не ладит и вызывает в них только вражду

к себе. Можно ли с ним добиться успеха во время сражения? Нет. Если люди ставят на кон свои жизни, то они должны верить своему начальнику. Он для них всё — учитель и друг. Никаких сомнений в нём. Иначе — всё пропало. Сколько не вооружай армию или флот, только напрасно будут гибнуть жизни. Не так ли, ваше высокоблагородие?

— Правильно рассуждаешь. Но ты, рязанский мужичок, не зря это мне говоришь. Что-то у тебя на уме другое.

— На уме у меня всегда только одно — наш корабль. Скажу прямо — кто из матросов во время боя может доверить свою жизнь графу Эверлингу?

И я подробно рассказал командиру, как граф издевается над матросами. Это задело командира за живое. Он раздраженно, словно обидели его лично, сказал:

— Давай книгу приказов!

Никогда раньше он не писал так свирепо, как на этот раз. И откуда только такие умные слова у него нашлись. Матросов он возвеличил, назвал их защитниками родины, а графа «Пять холодных сосисок» искромсал и за нарушение правил морского устава приговорил его к трём суткам ареста в каюте с приставлением к нему часового. И вообще этим приказом командир запретил всем офицерам заниматься мордобойством. На следующий день приказ прочли на шканцах во всеуслышание. И я присутствовал при этом. Интересно было наблюдать за графом — стоит он мертвенно-бледный, склонивши голову. Ведь впервые его так огорошили. Он пошёл к себе в каюту, ни на кого не глядя.

С этого дня у нас на судне прекратилось безобразие и начальство перестало заниматься рукоприкладством. Команда ещё больше полюбила

своего командира и готова была за него пойти на любой риск. Учение шло на судне как нельзя лучше. Всюду наблюдалась образцовая чистота.

Дня через три мы снялись с якоря и ушли из Генуи. Броненосец наш направлялся к берегам Сицилии. Стояла тихая погода. Средиземное море обошлось с нами, как старый друг. С эскадрой наш «Святослав» соединился в Палермо. Город чистый, приятный и, как показалось мне, небольшой, но в нём — сотни церквей. И кто только молится в них! В особенности мне понравился старинный собор. Весь он как будто воздушный и стоит более шестисот лет. Это объяснил мне мой приятель, машинист самостоятельного управления Григорьев. Очень умный парень. Я с ним гулял в городе и в окрестностях Палермо. Мой приятель много рассказывал мне о церквях и здорово высмеивал итальянских попов и монахов. Но выходило так, будто он разделял православную религию. Ядовитый человек. От него же я узнал, что около Палермо когда-то высадился Гарибальди, знаменитый итальянский патриот. При нём была только одна тысяча волонтёров. Но Гарибальди не боялся с ними начать войну против австрийского и папского ига. Отряд волонтёров начал обрастать восставшими крестьянами, и Гарибальди победил. Я подумал: может быть, со временем и у нас найдётся подобный вождь и установит в России другие порядки. В окрестностях Палермо застыли высоченные горы. В одной из них мы осмотрели пещеру Дионисово ухо. Громадных размеров она. Григорьев мне объяснил, что в ней запирали на ночь рабов. До двадцати тысяч помещалось их там. И вот что удивительно: в этой пещере такое эхо, какого нигде нет. Скажи вслух слово, и вверху точно гром раздаётся. Даже от шелеста бумаги такой шум поднимается, как от бури в лесу. Эта

пещера похожа на раковину уха. Рабов нарочно запирали туда, чтобы они не устроили заговора против своих господ. Наверху были устроены такие окошечки, через которые можно было услышать всё, что делается в пещере, — даже шопот людей. Вот что придумали богачи для бедняков. Но я отвлекся. Вернусь к своему кораблю. Присоединились мы к своей эскадре рано утром и стали на якорь. После подъёма флага в офицерской кают-компании начался завтрак. Подали сосиски с капустой. Офицеры многозначительно переглянулись. Граф заметил это и сейчас же позвал к себе вестового.

— Ну-ка ты, вобла! Передай повару, чтобы он приготовил для меня два яйца всмятку, а эту дрянь убери, — сказал он и показал на тарелку с сосисками.

Некоторые из офицеров заулыбались, другие громко фыркнули, а один мичман промолвил:

— Да, сегодня мне подали сосиски холодные, как пальцы в мороз. Противно даже дотронуться до таких сосисок.

Мать ты моя родная, что тут случилось с графом! Точно царапнули его по самому сердцу. Он вскочил, обвёл всех офицеров помутившимися глазами и громко заявил:

— Это низость! Я не могу больше находиться среди такого общества!

И убежал к себе в каюту. В кают-компании начался переполох. Офицеры сочли себя оскорблёнными: все встали и запротестовали против такой выходки графа. Поднялся невообразимый галдёж. Старший офицер, как хозяин кают-компании, начал успокаивать их. Некоторые из них угрожали вызвать графа на дуэль. Кончилось тем, что они написали командиру рапорт: просят его разобратить это дело. Граф в свою очередь написал ему

рапорт, в котором заявлял, что заболел и просит освободить его от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, от него был послан начальнику эскадры донос. Получился сложный переплёт. Все офицеры были настроены против командира за то, что он очень круто начал подтягивать их по службе. Но здесь по крайней мере преследовалась та цель, чтобы подготовить боевую мощь корабля. А «Пять холодных сосисок» ни за что ни про что презирал их, хотя у самого графа, кроме графской спеси, ничего не было за душой. Мало того, он нанёс им оскорбление. В конце концов они взяли сторону командира. Они думали, что он придирается к ним во имя долга службы. И каждому было видно, что порядки на корабле несравненно улучшились. Поэтому и авторитет командира стал среди них постепенно подниматься.

Вечером, за выпивкой, барин обратился ко мне:

— Ну, Захар, назревает большой скандал. Граф не оставит этого дела так. Он и в Петербурге начнёт нажимать кнопки.

— Неважно, ваше высокоблагородие. Вы честно поступили. А честность должна быть выше всего на свете. Ни одного командира команда не любила так, как вас. А графу нет больше жизни на корабле. Придётся ему уволиться на другое судно.

— Да это я к слову сказал. А мне наплевать на этого выродка.

Я разыскал тех матросов, над которыми издевался граф, и рассказал им, что, может быть, к нам приедет начальник эскадры. Они должны будут заявить претензию на своего обидчика. Сам командир будет только рад этому.

На второй день к нам приехал начальник эскадры, адмирал Железнов. Офицеры и команда выстроились во фронт на верхней палубе. Коман-

дир отрапортовал ему, что на судне обстоит всё благополучно: офицеров столько-то, из них один больной, граф такой-то, команды столько-то, из них больных никого нет; потом — сколько у нас имеется запасов угля, машинных материалов, пищи. Адмирал сначала поздоровался с офицерами, а затем — с командой. Мы в ответ отрезали ему:

— Здравья желаем, ваше гитество!

Я смотрел на адмирала с особым интересом: сравнительно с другими он был молодой, имел тонкие и немного изогнутые губы, глаза чёрные, пронзительные и нос с горбинкой. Он играл густыми бровями и постоянно щупал свою острую бородку, словно хотел убедиться — на месте ли она. Голова у него поворачивалась с такой быстротой, как будто он хотел что-то внезапно увидеть. Чувствовалось, что это деловой адмирал и хорошо соображает. Такие же отзывы я слышал о нём раньше от офицеров и матросов. Мне он понравился, может быть, потому, что моя Валя похожа на него — вылитая копия. Никаких сомнений не было, что он ей — родной отец. Значит, тёща говорила мне правду. В моей голове заиграла шальная мысль — выйти из фронта вперёд и заявить:

— Ваше превосходительство! Официально вы имеете двух детей. Вы с ними живёте, вы заботитесь о них. А знаете ли вы, что они не вашей крови? Но у вас есть родная дочь. Она родила вам замечательного внука. Вы — мой тесть, а я — ваш зять. Давайте по-хорошему пожмём друг другу руки...

Что было бы с адмиралом, если бы я на самом деле так сказал? Вероятно, он сошёл бы от ужаса с ума, а меня сгноили бы в тюрьме. Людям скорее нужна бесстыдная ложь, лишь бы прикрыть

её позолотой. А правда — она колючая, как иглы ежа.

Адмирал приказал приготовить судно к осмотру. Все матросы разбежались по своим местам. Может быть, он думал увидеть грязь, а тут пылинки нигде не найдёшь. Все отделения были чисты, как царские палаты, все медные части настолько были начищены, что своим блеском резали глаз. Некоторым из команды адмирал задавал вопросы по их специальности, а те отчеканивали ему, как будто читали молитву царю небесному. Пробыли все тревоги: боевую, пожарную и водяную. Каждый человек знал, куда ему бежать, и каждый знал, что ему делать. Вышло как нельзя лучше. Адмирал сказал командиру:

— Попробуйте поставить пластырь. Предположим, что корабль получил пробоину с правого борта, против первой дымовой трубы. Начинайте действовать.

А у нас давно уже начали заниматься практическим учением с постановкой пластыря. Командир отдал распоряжение. Засвистали дудки. Раздалась команда, какая полагается. Матросы во главе с боцманом ринулись к пластырю, в один миг притащили его к указанному борту и развернули. Получилось огромное парусиновое полотнище. Без единой заминки пластырь был опущен за борт и прилажен на место предполагаемой пробоины. Ну, что ни сказал бы адмирал, — всё выходило хорошо. Ни к чему не мог придаться. По глазам было видно, что он остался всем доволен. Но не сказал ни слова. А я радовался за свой корабль больше всех. Мне казалось, что в этот день на мою долю выпало самое большое счастье. Адмирал приказал выстроить нас на верхней палубе во фронт. Сначала мы получили от него благодарность за отличное исполнение своих обязанностей.

Потом он удалил всех офицеров, а сам пошёл вдоль фронта и начал допрашивать:

— Нет ли, братцы, у кого-нибудь претензий?

Посыпались жалобы на графа «Пять холодных сосисок». Человек двадцать заявили претензию. Они всё рассказали адмиралу, как с ними обращается граф. Не понравилось это начальнику эскадры, но всё-таки он приказал своему флаг-офицеру всё записать. И все наши офицеры подтвердили ему, что действительно было так. После этого он отправился в каюту графа. О чём они толковали — неизвестно. По-настоящему нужно бы отдать графа под суд. А ну-ка, попробуй! У него такие связи при царском дворе. Адмирал понимал это больше других.

В этот день всё у нас получилось замечательно. Только я один напоследок подгадил. И до чего же это нелепо произошло! Командир послал меня за старшим боцманом. Настроение у меня было радостное, и я понёсся по офицерскому коридору, как молодой жеребёнок. А в это время адмирал выходил из графской каюты. Я с разбега и ударился всем корпусом о дверь, а она так хлопнула по голове адмирала, что у него даже фуражка слетела. Он в испуге вскрикнул:

— Это что такое, чорт возьми!

Ну, думаю, кончилась моя служба. Вытянулся я, правую руку к бескозырке подбросил. Наступил такой момент, как будто меня лишили воздуха, и мой голос прозвучал, как у молодого петуха:

— Виноват, ваше превосходительство.

Адмирал рассвирепел:

— Ты что же, негодяй, вздумал начальство бить? Под суд отдам!

А сам всё потирает рукой лоб.

Опомнился я и соображаю, что нужно как-нибудь вывёртываться:

— Позвольте доложить, ваше превосходительство. Командир послал меня за старшим боцманом. А я всегда все его приказания исполняю бегом. Вот невзначай и хлопнулся о дверь и вас ушиб. Простите, ваше превосходительство.

Адмирал вызывает командира и сердито спрашивает:

— Что это у вас за матрос такой, который адмиралам наставляет шишки на лоб?

Я, как подсудимый на свидетеля, смотрю на Лезвина, — что он скажет? На его лице никакой растерянности. Он смело, словно разговаривает с равным, отвечает ему:

— Как командир корабля должен вам сказать, ваше превосходительство, это лучший слуга царю и отечеству.

Адмирал сразу смягчился:

— Так. Всё же проучить этого матроса не мешает, чтобы следующий раз бегал осторожнее. Посадите его на пять суток в карцер.

Я с благодарностью взглянул на своего тестя: дёшево удалось от него отделаться.

Он отбыл на свой корабль.

На второй день граф «Пять холодных сосисок» уехал в Петербург якобы по болезни. Молодец адмирал! Ловко придумал выход.

Вечером у нас на шканцах прочли приказ. Адмирал благодарит в нём командира, господ офицеров и всю команду за образцовый порядок на «Святославе». Дальше говорится, что и в боевом отношении наш броненосец стоит на большой высоте. В заключение адмирал приказывает командирам других судов побывать на «Святославе» и поучиться у капитана первого ранга Лезвина, как управлять кораблём.

Когда читали этот приказ, я в карцере сидел, но мой барин сейчас же освободил меня досрочно.

Начальник эскадры адмирал Железнов прослышал о нашем хоре и в праздник пригласил всех певчих на свой флагманский корабль. Ну, уж тут мы постарались! Адмирал остался доволен. Он отпустил на хор сто рублей, приказал выдать каждому по две чарки и угостил обедом из двух блюд: первое — флотский наваристый суп, второе — жареная свинина. И опять в приказе была объявлена всем нам, и особенно лейтенанту Подперицыну, благодарность.

XV

Два пьяных матроса вошли в парк и нескладно запели непристойную песню. Они шли медленно, покачиваясь и поддерживая друг друга. Патруль арестовал их обоих. Пьяные матросы запротестовали, начали ругаться и готовы были полезть в драку. Но на шум подошёл офицер, и буянов отвели на гауптвахту.

— Вот горе с этим пьянством! Теряют люди разум и не умеют держать себя. Теперь попадёт им обоим, — с досадой промолвил Псалтырёв и продолжил прерванный рассказ о своём судне.

— Без графа жизнь у нас наладилась как нельзя лучше. Офицеры под давлением командира перестали пускать в ход кулаки, с командой стали жить дружнее. Оставалось только радоваться, глядя на корабельные порядки. Но произошло такое тёмное дело, которое на всех нехорошо повлияло.

Как известно, на каждом корабле найдётся матрос — любимец всей команды. Таким у нас был рулевой Панфил Чудаков. Обыкновенно всех матросов на судне называют по фамилии, а этого просто — Панфика. Унтера, боцмана и даже офи-

церы окликали его только по имени. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок. И Панфилка уже прослужил на флоте более пяти лет, а всё казался подростком. Приятное личико его было моложавым и всегда румянилось, на верхней губе едва пробились русые усики. По своему живому характеру и подвижности он напоминал белку. По части пляски — цыгану не уступит. Ну, и на гармошке сыграет — заслушаешься. На корабле где Панфилка, там радость и смех. Посади такого человека за тюремную решётку — он всё равно не будет унывать. Всюду он свой человек. Начнёт вышучивать недостатки своих товарищей, и никто не имеет против него какой-либо обиды. Своей умильной улыбкой он гасит её, как вода гасит пламя. И перед начальством всегда у него найдутся слова. Однажды его останавливает лейтенант Подперечицын, показывает на верхушку мачты и спрашивает:

— Ты видишь, Панфилка, на самом клотике комар сидит?

Панфилка поднял голову, потом смотрит игриво-весёлыми глазами на лейтенанта и отвечает:

— Так точно, ваше благородие, вижу. Да он ещё на правый глаз кривой. Вероятно, комариха всердцах изувечила своего мужа.

— Молодец! Зоркость у тебя отличная, — смеётся Подперечицын.

Панфилка и перед старшим офицером не стеснялся. Когда мы стояли в Палермо, тот отпускает его на берег и говорит:

— Хороший ты у меня матрос, но усы у тебя паршивенькие.

— От родителей это у меня, ваше высокоблагородие. Будь я вашим сыном, я имел бы усы, похожие на бараньи рога. Одну девушку целовал бы, а семеро падали бы в обморок.

За такой ответ старший офицер другого матроса посадил бы в карцер или наградил бы его зуботычинами, а Панфилке и это сошло с рук. Из начальства ненавидел его только граф «Пять холодных сосисок». Ведь это Панфилка, будучи вестовым у него, брякнул ему насчёт умных офицеров. Хорошо, что командир повлиял на суд, а то бы граф упёк этого матроса в арестантские роты.

Словом, такие люди, как Панфилка, украшают жизнь, словно цветы.

Совсем другим у нас был кок Жеребцов. Великан! Не руки у него, а медвежьи лапы. Шея толстая, подбородка почти нет. Лицо неподвижное, как маска, кверху оно расширено, и над ним навис огромный лоб, точно каменный балкон. Глаза неопределённого цвета и неживые, как свинцовые. Между бровей большая бородавка, бурая, корявая, похожая на пробку от бутылки. Неряшливый и забывчивый, он всё же пищу готовил неплохо — матросы были им довольны. Но такой он был скучный человек, что даже Панфилка не мог его развеселить. Улыбнётся только одним уголком рта и молчит. Однако жили они, повидимому, дружно. Никому кок не давал таких хороших костей поглотать, как Панфилке, — с мясом и мозгом.

Жеребцов прославился у нас одной странностью. Задай ему какой-нибудь вопрос — он обязательно должен сначала дёрнуть себя за нос, а потом уже ответить. Без этого никак не может обойтись и будет стоять и молчать, как фонарный столб. И с начальством у него так выходило. Ему за это не раз попадало. Получалось, когда он дернёт себя за нос, то в его сознании вроде как чёрная шторка поднимается, и всё становится ему ясным.

И вот однажды что случилось. Было тихое утро. На синем небе ни одного облачка. Невысоко над горизонтом висит яркое солнце. На море ни одной

морщинки, точно оно помолодело за ночь. Вдыхаешь свежий воздух и чувствуешь во всём теле такую бодрость, как будто солнце вливает в тебя новые силы. Кругом разлита сияющая радость, хочется петь песни. В такое утро кажется, что ты никогда не состаришься, не умрёшь и будешь жить вечно молодым.

Команда уже позавтракала. На верхней палубе идёт уборка. Около камбуза на дубовом чурбане кок Жеребцов рубит на части бычью тушу. Я стою поблизости и люблюсь его здоровенной фигурой. На нём всё белое — фартук, колпак, куртка. В его руках тяжёлый топор с очень широким лезвием. Такие топоры бывают только у мясников. Когда кок резко опускает его на чурбан, то скалит зубы и шумно выдыхает:

— Гха!

Только что кончил он разрубать мясо, как около камбуза появился Панфилка.

— А ну-ка, кухонная чумичка, можешь ты мне с одного взмаха отрубить голову? — пошутил весельчак.

Кок покосился на Панфилку свинцовыми глазами, дёрнул себя за нос и мрачно ответил:

— Клади голову на чурбан.

Смотрю, Панфилка становится на колени и кладет голову на чурбан. Лицо у него повернуто в сторону моря. Солнце светит ему прямо в глаза. Он щурится и восторженно улыбается, показывая белые, как редька, зубы. Глядя на него, улыбаются и матросы. Кок берёт огромный топор и высоко вздымает его над собой, точно перед ним действительно бычья голова. В таком грозном виде он уставился на тонкую шею матроса и как будто замер. Мне показалось, что глаза у него помутнели. Все были уверены, что это только шутка, и всё-таки стало так страшно, что у меня

остановилось дыхание. Вдруг Жеребцов оскалил зубы, блеснуло в воздухе лезвие топора, и я явственно услышал привычный звук:

— Гха!

И голова Панфилки отлетела прочь, ударилась о палубу и покатилась по ней, как футбольный мяч. Туловище перевернулось раза два и осталось лежать неподвижно около чурбана. Палуба окрасилась кровью.

Крик ужаса вырвался у матросов.

Мне показалось, что я проваливаюсь в бездну. Закачалась палуба под ногами, запрыгали вокруг люди и судовые предметы. Но это было только мгновение. Корабль стоял на якоре. Жарко светило солнце. Суетились лишь матросы и громко галдели. Я взглянул на Жеребцова. Он выронил топор из рук и не сошёл с места. Лицо у него окаменело, нижняя челюсть отвалилась, рот раскрылся, помутившиеся глаза удивлённо уставились на окровавленный чурбан. В этот момент кок, повидимому, и сам не понимал, что случилось.

Матросы побежали за начальством. Вскоре всполошился весь корабль. Люди спешили на верхнюю палубу. Я бросился вниз, в каюту своего командира, чтобы доложить ему о событии. Когда он услышал от меня такую страшную новость, у него затряслась ржавая борода, а глаза налились кровью, как у бешеного быка. Мы побежали по трапу на верхнюю палубу. Он так шумно дышал, точно ему нехватало воздуха. А около камбуза собралось пропасть народу — и офицеры и матросы. Перед командиром все расступились. Жеребцов попрежнему стоял на одном месте, словно его припаяли к палубе. Командир увидел кока и заорал не своим голосом:

— А-а, это ты, убийца! Становись, подлец, на колени! Клади голову на чурбан!

Кока покорно исполнил его приказ. Командир схватил топор и так же, как и Жеребцов, высоко поднял его над собой. Вокруг все затихли, затаили дыхание, как на высочайшем смотре. Ещё момент — отлетела бы и другая голова. Меня точно какая-то сила толкнула вперед, — я выхватил у командира топор. Он повернулся ко мне и зарычал:

— Да как ты смеешь! На каторгу упеку!

— Куда угодно упекайте, а топор я вам не отдам, — твёрдо ответил я.

Вдруг лейтенант Подперечицын загородил меня и заявил командиру:

— Господин капитан первого ранга! Что вы делаете? Опомнитесь!

И командир действительно точно очнулся от бреда. Посмотрел на меня, а потом перевёл взгляд на кока. Тот продолжал держать голову на чурбане.

— Арестовать убийцу! — строго и трезво приказал командир и направился к себе в каюту.

Всех точно прорвало: поднялся невероятный крик. Кока хотели убить и выбросить за борт. Офицеры вызвали наверх караул. Всё это чуть не кончилось бунтом. Когда, наконец, повели Жеребцова в карцер, у него в сознании как будто наступило прояснение. Он замотал головой и заревел истошно и надрывно, точно раненый медведь.

Сейчас же о событии сообщили по семафору адмиралу. Немного времени спустя к нам на броненосец со всех кораблей съехались старшие врачи. Им было приказано исследовать кока — сумасшедший он или нет? Лейтенанту Подперечицыну командир поручил вести следствие по этому делу. Но все они ничего не добились от Жеребцова. Он лишь одно твердил:

— Я сам не знаю, как это вышло.

Доктора допрашивали команду, как он вёл себя

раньше и не было ли в его поведении каких-нибудь странных случаев. Матросы считали его хорошим коком и вполне нормальным человеком. Водки он не пил, ни с кем не скандалил, в драках не участвовал. Только иногда у него бывали заскоки в голове. Однажды нужно было ему приготовить борщ. Он нарезал сало, поджарил его с луком и отставил в сторону, а в котёл положил свой фартук. Но тут же младший кок вытащил фартук обратно. В другой раз так вышло. Была команда всем наверх и выстроиться повахтенно. Жеребцов выскочил на палубу в кальсонах и стал во фронт. Кругом столько смеху было, а он стоит и не замечает, что у него нет брюк. Сейчас же его посадили на пять суток в карцер. После отбытия своего наказания он взял свои кальсоны, изрезал их на мелкие лоскуточки и выбросил за борт. Узнали доктора и о том, как он дергает себя за нос.

Ночью командир пил водку больше обычного. Видать было, что это убийство повлияло на него очень сильно. Он часто хватал себя за голову и говорил:

— Психологическая загадка. Доктора объясняют так: при рубке мяса движения рук у кока исполняли работу помимо воли, механически, а задерживающие центры в его мозгу ослаблены. Из таких субъектов выходят самые страшные преступники. Теперь будут исследовать у преступника спинной мозг. Подозревают сифилис. А в общем ему давно бы нужно быть не на судне, а в доме для умалишенных.

Командир никак не мог успокоиться:

— Я сам чуть не стал убийцей. Какой ужас! Что со мною случилось?

И растерянно разводил руками.

— Ну, спасибо тебе, Захар, что ты вырвал у

меня топор. Совершилось бы страшное дело. Давай выпьем за упокой души Панфилки. Хороший был матрос!

Впоследствии кока всё-таки судили. Все думали, что его сошлют в Сибирь на каторгу. Но на суде нашли у него какую-то душевную ненормальность и приговорили его только к церковному покаянию. Сорок дней он должен быть на хлебе и воде и класть перед иконами по сто поклонов в день. С корабля он был списан в психиатрическую больницу для лечения. Он твёрдо решил: как только вырвется со службы, то уйдёт в монахи замаливать свой страшный грех.

Мне больше всего досадно, что командир подорвал свой авторитет. Зачем он схватил топор и хотел отрубить голову Жеребцову? Теперь офицеры нехорошо говорят о моём барине — считают его тоже ненормальным. Ну, ничего — потом всё это сгладится...

Псалтырёв вдруг вскочил и стал прощаться со мною:

— До свиданья, друг. Наш катер подходит к пристани. Через недельку зайду к тебе в экипаж. Поговорим ещё.

Склонив вперёд голову, он зашагал по холодной осенней земле так уверенно, словно был её хозяином. Ветер играл спускавшимися с его фуражки ленточками. Я остался один в размышлении о дальнейшей судьбе этого талантливого и своеобразного человека, так не похожего на других матросов.

XVI

Вместе со своей ротой мне пришлось попасть в манеж, где было устроено для команды развлечение. Здесь же находились матросы и с других

кораблей. Я сидел на краю скамейки в одном из передних рядов и смотрел, что делается на сцене. Началось с того, что матросы исполнили русскую пляску, выбивая ногами дробь под звуки двухрядной гармошки. Другие матросы, сменив своих товарищей, пропели хором морскую песню.

На этом самодеятельность их закончилась. Начали выступать артисты. Какой-то молодой фронт рассказал анекдот, как один поручик, уходя на занятия, приказал своему денщику зарезать курицу и приготовить из неё обед. Но тот не выполнил поручения. Офицер, вернувшись домой, спросил:

— Почему курица не зарезана?

Денщик ответил:

— Так что, ваше благородие, никак нельзя было это сделать, — за курицей ухаживал петух его превосходительства.

Денщик оказался таким дураком, что его барин остался без обеда.

Фронта сменил седобородый артист, высокий, толстый, во фраке, с широким чёрным бантом вместо галстука. Остановившись, он застыл перед зрительным залом, заложив руки назад и опустив глаза, словно сильно устал. Так продолжалось несколько секунд. Вдруг его пепельная голова горделиво откинулась назад, руки он выбросил вперёд, и мы увидели в одной из них балалайку. Все ждали, что он запоёт басом, но в бречащие звуки балалайки влился его надорванный и осипший тенор. Артист, ломаясь, дёргался, изгибался, дрыгал для чего-то ногой и напевал юдофобские частушки.

Всё это казалось невероятной дешёвкой. Для нас ни разу не поставили мало-мальски приличной пьесы, ни разу не пригласили хоть сколько-нибудь сносных артистов. Начальство, очевидно, думало, что мы вполне удовлетворимся этими эстрадными отбросами. Но мы сидели смиренно,

глазели на убогую сцену и слушали всё то, что с неё преподносили нам. Сознательные матросы слушали всё это с таким отвращением, как будто бы заставили их жевать гнилую, с тухлым запахом, пищу. Лишь немногие из публики смеялись. Впереди развалился на стуле лейтенант, которому было поручено следить в этот вечер за порядком. Ему было скучно — он часто зевал, широко раскрывая рот и лениво поглядывая на сцену. На лево, привалившись к деревянной стене манежа, стояли патрульные матросы при палашах.

На моё плечо легла чья-то рука. Я поднял голову и увидел улыбающегося Захара Псалтырёва. Он тихо заговорил:

— Слышал, как нашего брата, вестового, продёрунул один ферт? Всё за дурачков нас считают. Сам он идиот! Воли нет — поддал бы я ему коленом ниже поясицы, чтобы он кувыркком полетел со сцены.

Во время короткого антракта, гуляя в манеже, я немного успел поговорить с Псалтырёвым. Он с печалью сообщил мне:

— Барина-то моего отставили от командования броненосцем. А ведь как здорово было поставлено дело на «Святославе». Лучший корабль во всём флоте. И благодарность адмирала не помогла. За что, спрашивается, такая напасть на человека? Подвёл командира граф «Пять холодных сосисок». Он каким-то родственником приходится великому князю. Наверное, бывают и умные графы, а у этого ничего нет, кроме спеси. И всё-таки отомстил командиру. Мне об этом сам барин рассказывал.

— А как твои науки? — спросил я.

— Барин достал мне алгебру. Зубрю в свободное время. Трудное это дело, но обязательно её одолею. Он мне дал ещё учебники по географии,

истории, ботанике, зоологии. Наказывает, чтобы я учился, а сам нисколько не помогает. О нём есть что рассказать. Удивишься ты, если узнаешь, как мы живём.

Я уговорил Псалтырёва прогуляться по городу. Ночь была тихая, с лёгким морозом. Мы прохаживались по глухим и пустынным улицам. Я внимательно слушал своего друга.

— Барин дружит со мною пуще прежнего. Без меня, должно быть, скучно ему и поговорить не с кем. Офицеров он ненавидит, друзей у него никого нет. Кроме как по делам службы, он ни к кому не ходит и у него никто не бывает. Ну, и приходится ему отводить душу со мною. Днём он по-прежнему спит, а ночью выпивает. Теперь уж трудно ему остановиться.

Новый фокус он придумал: как только я приготавливаю выпивку и закуски, сейчас же приказывает мне наряжаться в его мундир, в крахмальную сорочку, в ботинки. Фигуры у нас подходящие, только он телесами полнее меня. Приходится мне что-нибудь подвёртывать на живот, чтобы мундир лучше обтягивал мой корпус. И вот в таком виде взглянул я первый раз в зеркало и удивился: чем я не капитан первого ранга? Даже страшно смотреть на самого себя. Хочется руку поднять к козырьку, чтобы честь отдать. Командир наказывает мне больше не величать его «ваше высокоблагородие», а называть Василием Николаевичем. И меня он называет по имени и отчеству — Захар Петрович.

Конечно, мне очень трудно соответствовать своему барину в обращении на благородный манер. Но так случилось, что я уже заранее забил себе голову этой мудрёной для нас, сиволапых, штукой, всякой всячиной насчёт господского форса. Раз,

смотрю — рядом с койкой на подоконнике лежит книга. На переплёте, вижу, крупными золотыми буквами наискось заглавие: «Хороший тон». А книга — моя страсть. Набросился я и на эту. Читаю. Оказывается, это правила поведения мужчин и женщин в благородном обществе. Затеяная книга! Из неё-то я и узнал, как себя держать на званых обедах, на именинах, на свадьбе, на крестинах, на похоронах и за домашним столом. В ней сказано про все случаи жизни. Вот я и зубрил, как и когда одеваться, каким манером нравиться другим.

Много сказано в книге насчёт порядка во время еды. Нельзя, например, слизывать с ножа или резать рыбу ножом, а только вилкой. Если не будешь знать, как и что едят, то ты — невоспитанный человек, а такому нет места среди господ. Подаётся, скажем, бифштекс. Наш брат, понятно, сразу распоросует его ножом на куски и давай скорей уминать. Нет, благовоспитанный гость должен соблюдать церемонию: отрезать только по кусочку и в рот; съел, тогда ещё отрежь. Когда я служил вестовым у графа «Пять холодных сосисок», его повар Прохор Савельевич часто угощал меня своими соусами. Иные мне так нравились, что я, бывало, хлебом вытру тарелку досуха. Вот был невежа! А по книге «Хороший тон» это считается таким же безобразием, как если бы я предстал среди гостей в одной исподней рубашонке и кальсонах.

То же самое, избави бог, руками пихать в рот пищу. Благородные люди будут смотреть на тебя, как на дикаря. И только спарже, артишокам и мелкой дичи сделано почему-то снисхождение — их можно брать и руками, без вилки.

По книге выходит так. Какой бы ни был учёный, хоть профессор, а раз ты нарушил обычай за столом, то тебя всё равно сочтут за невежу и тогда не достоин ты бывать среди избранных. Благород-

ная публика тебя больше не потерпит и никуда не пригласят. Не подумай, что это пустяк. Обречь себя на изгнание из хороших домов — это господам всё равно, что умереть заживо.

Раньше я думал, что хорошие манеры нам не по плечу. Господа очень гордятся этими знаниями хорошего тона. А на самом деле выходит, что это совсем не трудно — читай книгу и запоминай. И стоит-то книга всего-навсего два с половиной. Дешёвая наука. Каждый дурак её поймёт и за образованного сойдёт.

Только теперь я догадался, какую штуку сыграл со мной командир. Это он нарочно подсунул мне книгу «Хороший тон». По его приказу я по ночам наряжаюсь в офицерский мундир. Этого показалось ему мало. Хочет он, чтобы я как равный с ним и по-благородному вёл себя за столом. Тогда, ряженный, я буду ещё больше походить на настоящего капитана первого ранга. Ведь вот что придумал, какую комедию завёл! А наше дело маленькое: не прекословь барину.

И вот мы сидим за столом, как будто оба равный чин имеем, водку пьём, закусываем и разговариваем между собою.

Иногда он приказывает привести к нему женщину. В нашем городе сколько угодно таких заведений, откуда любую женщину можно взять, — только денег не жалея. Разные бывают у нас: блондинки, брюнетки, рыжие. Каждую такую особу он угощает вином и закусками и ухаживает за нею, словно за настоящей барыней. Она смеётся, всячески его раззадоривает. А он никак не поддаётся на соблазны и не позволяет себе не только дотронуться до неё, но и лишнего слова сказать ей. И она, видя такое обращение с нею, в свою очередь начинает изображать собою невинную девушку. Я смотрю на них и удивляюсь: за что,

спрашивается, я расплачиваюсь за неё его же деньгами? Десять целковых! Две таких суммы и в деревне можно бы купить корову. И каждый раз такая игра продолжается до полночи и дольше, а потом Василий Николаевич начинает извиняться перед женщиной, что у него якобы спешная работа. На прощание он обязательно поцелует у неё руку, как это полагается у господ. Я думаю, что все это он делает в отместку своей жене. Повидимому, она сильно задела его за живое, и никак он не может успокоиться. А мне со стороны смешно и обидно смотреть на всю эту канитель. Другое бы дело было, если бы он при своей жене стал ухаживать за продажной девицей. Получилось бы, что он ставит её наравне с барыней, и это оскорбило бы её до слёз. Но если она ничего этого не видит и ничего об этом не знает, то зачем же выкидывать такие номера? Только для обмана самого себя. Вот что значит господа, — они и мстят как-то по-особому, не так, как крестьяне. Словом, всегда так барин чудит. А послушать его — умный человек!

Когда мы сидим с ним вдвоём, то больше всего говорим о русском флоте. Но к этому переходим не сразу. Начинается с того, что Лезвин берёт чайный стакан водки, чокается со мною и говорит:

— Ваше здоровье, милейший Захар Петрович!

Я чуть-чуть склоняю голову и отвечаю ему:

— Будьте уверены, добрейший Василий Николаевич!

Он опрокидывает в себя полный стакан водки. И я для аппетита хвачу немного. Закусываем и говорим о разных пустяках. В окна барабанит косой дождь или снежная крупа. Мы оба довольны затянувшейся осенью. И тут же с радостью вспоминаем, как плавали под тропиками. Чудесное было время! Оно кажется нам солнечной сказкой.

Эх, эти всплески волн и голубые просторы морей! Никогда не забыть о них. Лезвин ещё выпивает стакан водки. Потом он жалуется, что в нашем городе нет приличных портных, поэтому заказы на хорошую одежду приходится отдавать в Петербург. Так мы с командиром некоторое время и ходим вокруг да около. И только после трёх стаканов он принимается за флот. Он сразу начинает яриться и уже объясняется без дураков.

— Да, Захар Петрович, с такими порядками не создашь боевой морской силы. Мы жалкие подражатели Запада. А своего у нас ничего нет. В верхах, за исключением немногих, сидят одни бумажные волокитчики, лентяи и невежды. Они умеют только грабить казну. На это у них хватает и старания и хитрости. В случае войны нам любая нация наломает рёбра.

Я поддакиваю командиру и стараюсь говорить по-ихнему:

— Правильно, Василий Николаевич, изволите выразаться! Куда наш флот годен? Только для смотров. И воры, большие и малые, присосались к нему, как черви к капусте. Возьмём для примера нашего экипажного казначея, титулярного советника Спирина. Жалованья он получает около ста рублей. А построил себе три каменных дома! Откуда взял такие капиталы? Флот ограбил. А сколько у нас таких разных Спириных развелось? И все они доят наш флот, как гуляющую корову. А за какие заслуги произвели Вислоухова в контр-адмиралы? Командиром современного крейсера и то не мог бы быть. А ему доверили командование целой эскадрой.

При упоминании о Вислоухове мой барин даже дёрнулся, а потом выпил стакан водки, закусил ветчиной и сердито заговорил:

— Двоюродная сестра у него служит при дворе

фрейлиной. А она его любовница. У нас всегда так бывает: кто-нибудь и кого-нибудь тянет за шиворот в высокие чины. Способности человека не принимаются в расчёт. Но самое зло, любезный Захар Петрович, ютится под золотым шпигелем — в Главном морском адмиралтействе. Нужно весь этот современный Вавилон разрушить до основания, а всё начальство разогнать за пять тысяч вёрст. Разогнать так, чтобы их духом не пахло. После этого уже взяться за тех, кто пониже, вроде чиновника Спирина и контр-адмирала Вислоухова. Этих сослать за тысячу вёрст. Вот тогда только можно приняться за создание настоящего боевого флота...

Я видел одиночество барина, и мне было жалко его. Сколько он учился, сколько мыслей у него в голове! А нет никакой пользы от этого. Угасал этот человек на моих глазах. Никакие науки его уже не интересовали. Он даже перестал прикасаться к своим книгам. Я за него пользуюсь ими. А он читает только отрывной календарь, да и то лишь когда ложится в постель.

Однажды мне особенно бросилось в глаза, насколько постарел и поблёл Лезвин в сравнении с тем, как впервые я встретил его. Денег он расходует уйму, а удовольствия никакого не имеет. Впустую прожигает остатки своей жизни и обманывает разными причудами самого себя. А ведь в деревне только одним его месячным жалованьем можно было бы поднять любое захудалое хозяйство. Вспомнилась мне родная семья, где каждая копейка на учёте, и я задумался. Лезвин заметил это и спросил:

- Вы что, Захар Петрович, голову повесили?
- Размышляю, Василий Николаевич!
- О чём?
- Очень хитро жизнь построена.
- Чем же хитро?

— А вот взять для примера деревню. Крестьянин ухаживает за своей коровой, заботится о ней, а добытое от неё масло он не кушает. За него покушают это в городе, те, что совсем коров не имеют. А он будет копить деньги, чтобы купить железные шины на колёса. Или, скажем, вырастит он свинью, а достанутся ему от неё одни потроха. Свиныня же вся пойдёт в город. Видите ли, ему седёлку нужно купить, топор, косу, не считая того, что с него ещё подати требуют. Так же и жена его поступает. Разводит она кур, собирает от них яйца. Никто ей не запрещает накормить яйцами своих детей. Очень вкусная и полезная пища. Но этой крестьянке дозарезу необходимо выручить полтинник, чтобы платок на голову купить. Идёт она в лес за ягодами. Иная земляничка, выросшая на солнечном припёке, так и рдеет — сама просится в рот. Но баба не съест эту ягодку, а обязательно положит её в кувшин или в туюс. И когда вернётся домой, она и своих любимых детей не накормит ягодами. Она лучше снесёт ягоды на железнодорожную станцию. Почему? Да потому, что на соль нет денег. А ведь эти яйца, масло, свинина, куры, ягоды и другие вкусные и полезные продукты не охраняются никакими часовыми. Пожалуйста — пусть крестьяне едят этого сколько угодно. Никто им не запрещает. Но будьте спокойны — они заполнят свои желудки квасом и картошкой, а что получше — приберегут для богатых. И добро было бы, если бы богатые в свою очередь снабжали их тем, что производится в городе: обувью, одеждой, косилками, плугами, молотилками. Но ведь этого ничего нет. Деревня почти обходится одними своими изделиями. Вот я и думаю, Василий Николаевич, — разве не хитро жизнь построена?

Мой барин нахмурился.

— Не стоит, Захар Петрович, рассуждать об этом. И без того тошно жить на свете.

Так вот я и провожу со своим барином каждую ночь. О чём только мы не разговариваем! Но больше всего нападаем на флотские порядки. Лезвин нет-нет да и хлопнет стакан водки. Под утро делается чёрным, как чугу́н. Приказывает мне:

— Ну, пора кончать всю эту музыку.

Вижу, барин мой дозрел. Я разоблачаюсь и надеваю свою матросскую форму. И таким манером из меня опять получается вестовой. Я веду барина в спальню. Он валится на пружинистую кровать и говорит мне:

— Захар, раздень меня.

Однажды уложил я его в кровать, прикрыл одеялом, а он смотрит на меня помутившимися глазами и бормочет:

— Ты, деревенская язва, понимаешь, что говоришь?

— Я не знаю, что вы имеете в виду.

— Твои рассуждения. По-настоящему, я давно бы должен отдать тебя под суд. Я чувствую, что в твоей голове назревают страшные мысли. Придёт время, когда ты начнёшь офицеров и адмиралов выбрасывать за борт. И таких, как ты, много развелось во флоте.

Я насторожился, но улыбаюсь и отвечаю:

— Никаких особенных мыслей у меня в голове нет, Василий Николаевич. Думы мои только о деревне. Кончу службу — опять начну пахать землю. Где уж нашему брату чай пить. Нам бы хоть сахарку погрызть, и то слава богу.

— Да, да, сахарку погрызть, — повторяет Лезвин. — Тем более, что зубы у тебя крепкие, как и твоя голова. А потом потянет на какао с пирожным.

И уже дружески добавляет:

— Но всё равно я никому не дам тебя в обиду. Посмотреть бы, что из тебя получится. Пока, Захар, размышляй. Дай мне отрывной календарь. На втором листке он обыкновенно засыпает.

Из манежа повалили матросы. Время моей гулянки истекало. Я распрощался с Псалтырёвым и спешно зашагал в экипаж, чтобы не остаться «нетчиком».

XVII

Псалтырёв был арестован при странных обстоятельствах. Во всех экипажах среди офицеров и матросов много было разговоров вокруг этого события. Одни уверяли, что он отравил своего барина, чтобы ограбить его, другие отрицали это и выдвигали другое соображение, — он просто с ума сошёл. Находились и такие, по мнению которых он будто хотел офицерским кортиком перерезать всё экипажное начальство. Некоторые примешивали здесь политику. Словом, произошёл какой-то загадочный случай, всколыхнувший моряков. Судьба друга меня очень беспокоила. Но толком я не знал, в чём дело, не знал до тех пор, пока он сам, освобождённый уже из-под ареста, не рассказал мне об этом, сидя у меня на койке.

— Вот, друг, какие дела в жизни бывают. Правильно говорится в народе: «От сумы да от тюрьмы не отказывайся». И я чуть за решётку не угодил. А вышло это так. Вечером, как и раньше это бывало, накрыл я стол, приготовил выпивку и закуски, а потом сам нарядился в мундир своего барина. Уселись мы на стулья друг против друга. У нас обоих на плечах красовались золотые эполеты, как будто мы только что вернулись с парада. Лезвин на этот раз был настроен мрачно, словно он предчувствовал что-то недоброе. Сна-

чала мы выпивали и закусывали молча. Только когда чокались, то приветствовали друг друга хорошими словами. Потом кое-как разговорились. Я заметил, что в трезвом виде у него память слабеет, — иногда обрывает он свою речь на полфразе. Но стоит только выпить ему стакана два водки, как сразу мозг у него проясняется. Я тогда с удовольствием слушаю его и набираюсь ума-разума. Я, конечно, тоже не молчу. И в этот вечер я рассказал ему, как мне удалось побывать на всеобщей исповеди у Иоанна Кронштадтского и что в это время пришлось видеть и слышать. Лезвин угрюмо промолвил:

— Я встречался с ним несколько раз. Неврастеник! Больше того, сумасшедший поп! Высказывает какой-то бред. А людям больше всего нравится в религии то, что необычно и непонятно. Вот почему всякое его нелепое бормотание они принимают за пророчество. В этом его успех.

И добавил, как бы про себя:

— Россия — это корабль, плавающий в непроглядном тумане.

Его взгляд пришёлся мне по душе. Я решил рассказать ему и о другом случае. В этом, пожалуй, была моя ошибка.

— Забыл сказать вам, Василий Николаевич, что имею самую интересную последнюю новость.

— Какую?

— Недавно в городе открылось новое заведение под названием «Грёзы моряка». Очень красивое название. Это заведение должно обслуживать главным образом морских офицеров. Матросу попасть туда трудно. Но всё-таки кое-кто из команды побывал там. Это те, кто побогаче, вроде содержателей казённого имущества, или те, что от родных получают большие деньги. Для этого им пришлось наряжаться в штатское платье.

Лезвин спросил:

— Откуда же они могли достать штатское платье?

— Мало ли в городе знакомых. Да и торговцы готовым платьем не откажут дать под залог костюм напрокат. За деньги всё можно достать. Эти матросы с восторгом отзывались о заведении «Грёзы моряка». Роскошь, говорят, там необыкновенная. В коридорах и номерах разостланы ковры. В главном зале, где танцуют, полы паркетные, люстры горят, как в соборе, музыканты играют на скрипках и рояле. Девиц подобрали самых красивых: и высоких, и маленьких, и полных, и худеньких. И все они нарядные, как настоящие мамзели. Любую выбирай — кому какая нравится. Но зато и обдирают посетителей. Переночевать там стоит пятнадцать рублей. Да пятёрка уйдёт на угощение какой-нибудь особе. Значит, за одну ночь вылетят из кармана две красненьких...

Лезвин перебил меня:

— А для чего это вы, Захар Петрович, сообщаете мне об этом да ещё с такими подробностями?

— Подробности, Василий Николаевич, — это между прочим. Но я вам главного не сказал. Когда открывали «Грёзы моряка», то сначала отслужили молебен с водосвятием. Был приглашён хор певчих. Попа нашли редкой красоты: борода у него ласковая, глаза кроткие, голос небольшой, но очень нежный. Словом, с виду священник похож на святого угодника, что на иконах рисуют. Возгласы он подавал трогательные до слёз. А хор так складно пел, что, говорят, душа радовалась. Хозяин с хозяйкой, их маленькие дети, кассирша, все девицы, вышибалы усердно молились богу. Просили, значит, милосердного бога, чтобы он посылал им побольше гостей в это заведение. Потом

этот смиренный батюшка обходил все номера, где девицы живут, и каждую кровать благословлял крестом и кропил святой водой. И что же вы думаете, Василий Николаевич? Бог внял их мольбам и теперь отбоя нет от посетителей.

Лезвин даже сплюнул:

— Тьфу, какая гадость!

Потом спросил меня:

— А откуда, Захар Петрович, вы всё знаете об этом?

— Да как же мне не знать, Василий Николаевич? Позавчера у нас была мамзель. Вы изволили величать её Елизаветой Владимировной. Ведь она из этого заведения. Очень верующая и богомольная особа, точно монашка. Вот от неё-то я и узнал всё. Да и в экипажах всем матросам это известно. Теперь у них разговору и смеху хватает на полгода: молебен с водосвятием в таком заведении! Ведь это событие, Василий Николаевич!

Лезвин покачал головою и прохрипел:

— Так вот как мы охраняем чистоту религии.

— Кстати сказать, Василий Николаевич, наш граф «Пять холодных сосисок», что подвёл вас, иногда тоже бывает в этом заведении. Но только посидит в зале, а в номера не заходит к девицам.

При этих словах Лезвин ударил кулаком по столу и заорал, как безумный:

— Ну, и чорт с ним, с этим графом!

Он выпил полный стакан водки и не стал даже закусывать.

Времени было около одиннадцати часов. Барин порядочно захмелел. Глаза у него стали красные, лицо помрачнело. Он особенно разошёлся насчёт морских воротил и говорил так шумливо, словно его слушали сотни людей:

— Когда меня произвели в офицеры, я ревностно взялся за службу. Для меня ясно было, что

такая великая страна, как Россия, не может обойтись без могучего флота. Обширные берега её омываются водами Балтики, Чёрного моря, Белого моря, Великого океана, Ледовитого океана. Мне представлялось, как наши корабли бороздят морские просторы под всеми широтами. Все государства боязливо посматривают на наш андреевский флаг. И в этом сильном флоте я играю не последнюю роль. Вот почему я так горел нашим флотом. Сколько мною написано докладных записок в Главный морской штаб! Мне хотелось улучшить санитарные условия матросов. Зря старался. Кто у нас больше всего унижает команду? Иностранцы, вроде графа «Пять холодных сосисок». На каждых пять русских офицеров приходится один иностранец. И об этом я писал — требовал поднять достоинство матроса и в то же время ввести самую строгую дисциплину на кораблях. Никакого результата. Я добивался открытия генерального штаба. И что же? Бей в каменную стену головой — не прошибёшь. Я доказывал, что Морской кадетский корпус должен быть доступным для всех сословий. Нужно выбирать в него самых талантливых юношей. Только тогда у нас будут настоящие офицеры. На этот мой доклад высшее начальство даже пригрозило мне, чтобы я поменьше высказывался насчёт реформ. Словом, все мои доклады утонули в омуте бюрократических бумаг, как тонет якорь в море. Но якорь можно поднять, а мои записки навсегда утонули. И что мы теперь видим? Флота у нас нет. Есть большое количество железных гробов для будущей войны.

Такое заключение Лезвина меня обескуражило, и я спросил:

— Почему же это так получается, Василий Николаевич?

Мой вопрос словно пришпорил Лезвина.

— Отчасти я уже указал вам на причины, а дальше, Захар Петрович, присмотритесь сами, что за люди возглавляют наш флот. Вам всё станет понятным. Недавно одного лейтенанта произвели в капитаны второго ранга. А все психиатры уже десять лет признают его сумасшедшим. Он неизлечимо больной. Правда, помешательство у него тихое, для людей неопасное. Но всё равно — ни на один корабль его не берут. Иногда он приходит в порт, вытаскивает из кармана белых мышей и показывает их рабочим. Он всех уверяет, что это его маленькие дети. Конечно, в глазах рабочих это не офицер, а какое-то посмешище. И этому человеку каждый месяц двадцатого числа казна аккуратно посылает жалованье. Я нарочно взял душевнобольного человека. Мне хочется показать вам, как недалеко ушли от него и так называемые нормальные люди. Возьмём, например, адмирала Бранта. Он целые дни и вечера проводит за вышивкой. Эта работа увлекает его, доставляет ему высшее удовольствие. Гладью и крестиками он вышивает такие замысловатые узоры, что любая женщина позавидует ему. На столах у него скатерти собственного рукоделья. Стоит посмотреть его салфетки на этажерках, дорожку на рояле, украшение вокруг портретов. Какое великолепное сочетание красок, какое тонкое искусство! Но разве не смешно видеть адмирала с чёрными орлами на плечах за вышивкой?

Лезвин искривил губы в злую усмешку.

Я вставил своё мнение:

— Значит, человек находится не на своём месте. Ему велят не боевой рубкой, а модной белошвейной мастерской. Из него, может быть, вышел бы незаменимый заведующий.

— Вот именно! — подхватил Лезвин с таким

воодушевлением, словно чему-то обрадовался. — А во флоте он лишь даром получает жалованье. Другой адмирал — Веснин — содержит собственных лошадей и отлично наезжает их. Любит это дело по-настоящему. Место ему — на ипподроме. Вероятно, он стал бы выдающимся наездником. Но на флоте он никуда негодный моряк. При этом ещё он не прочь руки погреть около казённого сундука. Адмирал Гильд — неплохой парусник, благородный человек. Но современных кораблей он не знает. Этот человек помешался на православном богослужении. Дома у него перед иконами горят неугасимые лампы. Он сам заправляет их, следит за ними днём и ночью. Плавать с ним — одно наказание. Не только команду, но и офицеров он мучает церковными обрядностями и невероятно длинными богослужениями. Кончается обедня, он обязательно ещё закажет попу молебен с коленопреклонением. Сам стоит на коленях, и все его подчинённые так же должны поступать. Но на их боевую подготовку он мало обращает внимания. Да он и не понимает ничего в этом деле. Всё на бога надеется.

Я сказал:

— В народе говорят: «На бога надейся, а сам не плошай». Вероятно, Василий Николаевич, такой флагманский корабль похож на пловучий монастырь, где роль игумена исполняет адмирал.

Лезвин злобно усмехнулся:

— Верно! Игумен в мундире и с орлами на плечах. Но есть ещё типы похлеще его! Капитан первого ранга Балкин, будущий адмирал, — человек богатырского телосложения, силач и кутила. Сам красный, борода рыжая. Любитель подебосировать. Но главная его страсть — это пожары. Его знают все пожарные. Он ведрами покупает для них водку. А они за это, если где вспыхнет

пожар, должны первым делом звонить ему по телефону. Тогда он мчится на рысаке, стоя на пролётке и держит перед собою, словно икону, огромный топор. Большая рыжая борода развеивается от ветра во все стороны. В этот момент у него вид древнего витязя. На пожаре он работает впереди пожарных и один выворачивает из здания целые брёвна. Рыжий, он сам похож на пламя. Для него огонь — своя стихия, как для рыбы вода. Из него мог бы выйти замечательный брандмайор. Но какое, спрашивается, это имеет отношение к флоту?

— Очень маленькое, Василий Николаевич, — с досадой отвечаю я, словно дело касалось не флота, а моего родного дома.

После того как барин разошёлся с женою, я впервые вижу его таким возбуждённым. У него нет ни детей, ни друзей. Он разочаровался в жизни, ни во что не верит. Судьба ограбила его, унизила, превратила в ничто. Только я один дружу с ним, только передо мною он с горечью изливает то, что накипело у него на душе:

— Возьмём адмирала Нелишина. Образованный человек, хорошо знает европейские языки. Любимым занятием у него не морское дело, а парикмахерское ремесло. Он бреет и стрижёт всех своих знакомых. Никто не может сделать такую идеальную причёску, как он. Это не просто парикмахер, а лучший мастер, своего рода художник. Куда бы он ни поехал, при нём всегда находится специальный чемодан с набором парикмахерских принадлежностей: десятка два кисточек, столько же больших и маленьких ножниц, до полсотни бритв лучших заграничных фирм, потом — флаконы с одеколоном, коробочки с пудрой, пакеты с ватой, баночки с вазелином. Он может и компресс наложить и массаж сделать не

хуже любого парикмахера. Многим офицерам предлагает сделать причёску по своему вкусу, но не каждый согласится воспользоваться его услугами. Тогда адмирал начинает ухаживать за таким, как за другом, будет его накачивать водкой и вином и сам пить, но обязательно своего добьётся — пострижёт и побреет офицера. Что вы скажете на это, Захар Петрович?

Лезвин смотрит на меня выкатившимися глазами и ждёт ответа.

Я отвечаю шуткой:

— Если бы в морском сражении можно было действовать не орудиями и минами, а только бритвой и ножницами — ого! Что такой адмирал мог бы натворить!

Барин ядовито подхватывает:

— Да, при таких условиях он стал бы первым флотоводцем в мире.

И вдруг громко расхохотался каким-то болезненным смехом.

— Выпьем за здоровье адмирала-парикмахера!

Он с жадностью осушил стакан водки, заставил и меня полстакана выпить.

— Послушайте дальше, Захар Петрович. У великого князя Алексея Александровича, нашего шефа, вернее — главного растратчика русского флота, служит адъютантом капитан второго ранга Винодельский. Флот ему нужен не больше, как почётное и доходное место. Зато его интересует другое. Всю жизнь он собирает похабные картины, фотографии, статуэтки и разные вещицы вплоть до трубок. Не раз он ездил за ними за границу и не жалеет для этого никаких денег. Во всей Европе ни в одном публичном доме не найдёшь подобной мерзости, какие имеются у него на квартире. Похабщиной он украсил все стены прихожей, столовой, всех комнат и даже уборной...

Я спросил Лезвина:

— Как же это так, Василий Николаевич? У него, наверно, есть жена, дети, родственники, бывают знакомые. Неужели ему не стыдно?

— У таких людей обезьяний стыд. Но не в этом дело. Хозяин этой ужасной квартиры — старый холостяк и знать не хочет ни дам, ни девиц. Живёт он монахом и порицает тех мужчин, которые ухаживают за женщинами. Пусть медицина разберётся в душе этого человека. А вот вам ещё один экземпляр: свиты его величества адмирал Толстопятов. Добродушнейший толстяк. Ему безгранично нравится поварское искусство. Дома он часто снимает с себя сюртук, подвязывает фартук, засучивает рукава и начинает стряпать. Сам Пушкин с меньшим вдохновением писал свои стихи, чем Толстопятов приготавливает пищу. Изготовленные им блюда должны бы кушать только боги, а не люди. Он бывает невероятно счастлив, если знакомые приглашают его состряпать обед или ужин. Некоторые офицеры даже делают себе на этом карьеру. Но из пушек и снарядов никакого вкусного блюда не создашь. Поэтому и отношение этого адмирала к боевым кораблям очень прохладное. Да, Захар Петрович, всех чудаков не перечислить. Нет у нас таких флотоводцев, как Сенявин, Корнилов, Ушаков, Нахимов. Только адмирал Макаров держится на высоте. Но один, как говорится, в поле не воин...

— А Виктор Григорьевич Железнов? — спросил я и жадно впился глазами в барина.

— Этот адмирал тоже на месте, хотя и порядочный карьерист и хитрец. Но ведь таких очень мало. Наберётся ещё десять человек. А остальные высшие чины служат на флоте по какому-то недоразумению. Призвание у них совсем другое. Многие молодые офицеры честно хотели послу-

жить своей родине. Но чему они могли научиться у этих господ? Проходило время. Молодёжь разочаровывалась в своих мечтах. Их также охватывала зараза разложения. И мне этого не удалось избежать. Я тоже стал каким-то чудаком.

Лезвин замолчал, нахмурился, но от волнения у него продолжали дёргаться губы.

Мне было обидно за русский флот, и я сказал: — Выходит, что морские воротилы служат во флоте только ради жалованья и чинов. И больше ничего. А боевой подготовкой кораблей и личного состава они также интересуются, как быки молебном.

— Это сказано очень сильно и верно.

У барина лицо набухло, на висках вздулись жилы, брови надвинулись на глаза. Он потёр лоб и задумался. Какая задача решалась в его голове? Как бы в ответ мне он заговорил хрипло, с горечью:

— Вот что, Захар Петрович, скажу я вам. Я уже написал на высочайшее имя докладную записку. Завтра же её пошлю. Это моё последнее обращение. Все наши флотские недочёты, всю мерзость нашей морской службы я изложил на бумаге в самой резкой форме. И добавляю — это не моё только мнение, но и других передовых офицеров. Пусть почитают. А в конце ставлю вопрос: намерено ли правительство оздоровить наш флот? Если нет, то пусть выгонят меня вон со службы или посадят за тюремную решётку. Я соглашусь скорее сдохнуть под забором, как бездомная собака, но не хочу участвовать в позоре будущей войны...

Я встревожился, слушая его, и с болью смотрел на этого благородного, но надломленного человека. Я хотел сказать ему: не надо напрасно рисковать собою. Но он вдруг сжал кулаки и, потрясая ими над головою, закричал грозно, как обвинитель:

— Что за люди стоят у штурвала всероссийского корабля? Куда, в какую пропасть они направляют нашу родину? Ведь это...

Дальше у него как будто нехватило слов — он молча уставился на меня безумными глазами. Мне даже страшно стало и от его выкрика и от его взгляда. А барин, задыхаясь, берёт дрожащей рукой стакан водки, чокается со мною и говорит:

— Ну, ладно, Захар Петрович, под столом увидимся.

И нужно же было тут греху случиться. Стакан застучал о его зубы, водка расплескалась. Понеслышался звон разбитого стекла. Я взглянул на барина: лицо его посинело, глаза стали стеклянными, на губах появилась пена. Он ухватился за свою грудь и зашептал:

— Сердце... сердце...

Никогда я так не терялся, как в этот вечер. Недолго пришлось мне размышлять. Схватил я капитанскую фуражку и, в чём был одет, пустился бегом в свой экипаж. Матросы, с какими я встречался, отдавали мне честь. Что, думаю, смеются, что ли, они надо мною? Всё-таки немного выпивши я был, и с испугу мыслишки путались. Вбегаю прямо в канцелярию и кричу во всё горло:

— Доктора! Скорее доктора!

На мой крик вылетает из отдельной комнаты дежурный офицер, какой-то лейтенант, при сабле, с эполетами на плечах. Спросонья он таращит глаза на меня и, видимо, ничего не понимает. Правую руку он держит под козырёк и хочет мне рапортовать. А я, как ошалелый, ору:

— Ваше благородие, барин мой умирает. Доктора скорее дайте.

В этот момент он, вероятно, принял меня за сумасшедшего. Лицо у него помертвело. Он ухватился за саблю, попятился от меня и забормотал:

— Позвольте, вы кто такой?

Я объясняю ему, что служу вестовым у его высокоблагородия капитана первого ранга Лезвина. Дежурный офицер немного опомнился, показывает на мой наряд и спрашивает:

— А это откуда у тебя?

Только после этого я заметил, что на мне офицерский мундир. Вот почему матросы отдавали мне честь! Ещё больше охватило меня волнение. Я рассказываю дежурному офицеру, как было дело, — не верит. Сейчас же меня арестовали, привели ко мне двух часовых с винтовками. А я всё на своём настаиваю; что меня, мол, хоть на кол посадите, но только для барина давайте скорее доктора. Уж очень мне было жалко Василия Николаевича. Всё же я добился своего: послали доктора к нему на квартиру. Но барина нашли на полу уже мёртвым. Дежурный офицер раскричался на меня:

— Разбойник! Ты, наверно, задушил своего барина? Признавайся сейчас же! Всё равно тебя расстреляют.

И бил меня кулаком в подбородок. Но мне почему-то не было больно. Я стиснул зубы, чтобы язык не прикусить. Только голова при каждом ударе откидывалась назад.

По телефону был вызван экипажный командир, капитан первого ранга Лукин. Через несколько минут он явился в канцелярию. На его седебородом лице было такое выражение, как будто он решил сейчас же меня уничтожить. Он протянул в мою сторону указательный палец и спросил:

— Этот?

Дежурный офицер ответил ему официально:

— Так точно, господин капитан первого ранга.

Экипажный командир стал угрожать мне виселицей. Его особенно возмущало, что я наряжен в

офицерский мундир. Я пробовал оправдываться, но он приказывал мне молчать. Я перестал отвечать на вопросы и думал лишь об одном: что будет с моей Валею и с моим сыном, если эти угрозы оправдаются? С меня стащили мундир и брюки. В одном нижнем белье я был отправлен в карцер. Я улёгся на голые нары и, после пережитых волнений, почувствовал невероятную усталость. Бесплезно было думать о дальнейшем: всё равно мою участь решит начальство. Через какую-нибудь минуту сон нежно обнял меня, как родная мать, а потом казалось, что я, покачиваясь, плыву на облаках.

На второй день моего барина отвезли в морской госпиталь и там его вскрыли: выяснилось, что он скончался от паралича сердца. Хотя я и не был виноват в его смерти, но меня продолжали держать под арестом. Никто не верил, что я надевал мундир по приказанию Лезвина. Сначала считали меня сумасшедшим, но доктора установили, что я в здравом уме. Началось следствие. Допрашивал меня один лейтенант, человек строгий и придирчивый. По его мнению, выходило так, что я обокрал своего барина, нарочно нарядился в его мундир, чтобы удрать с военной службы, но в последний момент испугался полиции и прибежал в канцелярию. Он хотел запугать меня. Но ведь и моя голова кое-что соображает. Не хотелось мне позорить покойника, а пришлось признаться следователю:

— У меня, ваше благородие, свидетели есть. Они могут подтвердить, что я правду говорю.

— Это какие же у тебя свидетели, откуда? — спрашивает следователь.

Я отвечаю ему, глядя в глаза:

— Феня из «Золотого якоря», Нина из «Попутного ветра», Лиза из нового заведения «Грёзы моряка».

Словом, я перечислил ему почти все весёлые дома. Следовательно от моих слов даже покраснел и не стал ничего записывать. Сейчас же он побежал советоваться с экипажным командиром. Только после этого меня освободили из-под ареста и строго-настрого приказали мне, чтобы я насчёт своего барина держал язык на привязи. Иначе я попаду в тюрьму. А зачем я буду болтать? Ведь это я только тебе, как другу, рассказываю. Жаль барина! Хороший был человек для нашего брата. Как-то мне теперь удастся устроиться?

XVIII

Крейсер, назначенный в длительное плавание, уже стоял на большом рейде, грозно возвышаясь над водой железной громадой. Под безоблачным небом, в лучах весеннего солнца, взбивая пену на гребнях волн, резвился на просторе западный ветер. Судно, повернувшись ему навстречу острым форштевнем, скрежетало якорными канатами в клюзах, словно нетерпеливо порывалось скорее ринуться вперёд, в загадочную даль моря. Андреевский флаг на корме, гюйс на носу и длинная, с двумя косицами, лента вымпела на грот-мачте, после того как целую зиму пролежали в глухом подшкиперском помещении, ожили и весело трепетали, обласканные сиянием голубого дня.

На этот раз, несмотря на праздник, никого из команды гулять на берег не отпустили. К борту то и дело приставали баркасы. С них перегружали на судно последние припасы, необходимые в плавании. На верхней палубе раздавались свистки и выкрики капралов, приводя команду в движение.

Неожиданно ко мне на крейсер явился Захар Псалтырёв. Он был в новенькой фланельке, в аккуратно выглаженных чёрных брюках, в блестящих,

как отшлифованный чёрный мрамор, ботинках. На каждом его плече красовалось по два жёлтых кондрика, означающих звание строевого квартирмейстера. Мужественное загорелое лицо его широко улыбалось, сверкая радостной белизной зубов. Но меня больше всего поразило, что он дослужился до младшего унтер-офицера. Заметив моё удивление, Захар воскликнул:

— Что ты смотришь на меня, как поп на еретика? Здорово, браток!

— Моё тебе почтение, друг! — крепко пожимая его сильную лапу, возбуждённо ответил я. — Откуда, какими ветрами занесло тебя на наш корабль?

— Через товарищей узнал, что вы сегодня снимаетесь с якоря. Я нанял ялик и прикатил проведать друга. Ну, как дышится в море?

— На полную грудь.

Мы обменялись ещё несколькими фразами и спустились в мои владения — в ахтер-люк. Я раскупорил банку с консервами, достал хлеба. В гречневой крупе у меня была спрятана бутылка с лимонной водкой. Я сейчас же извлёк её оттуда. Увидев бутылку, Захар заявил:

— После смерти командира с этим злом я закончил. Мешает это держать правильный курс в жизни. И только ради такой радостной встречи сделаю исключение: пропущу два глоточка.

Выпивая и закусывая, мы закидывали друг друга вопросами. Хотелось узнать о судьбе других товарищей. Кратко рассказал он и о своей семье. Дома у него всё было благополучно. По-прежнему с юношеским восторгом он отзывался о своей жене и сыне, — она опять работает машинисткой, а малыш растёт.

— Но как ты, Захар, из вестового превратился в строевого квартирмейстера? Вот чудо!

— Да, это чудо, — засмеялся Псалтырёв. — Невозможное стало возможным. Случайно я поймал за хвост свою давнюю мечту и оседлал её. И знаешь, кто мне помог в этом деле? Ирландский сеттер.

— Брось морочить мне голову. Я серьёзно спрашиваю.

— А я тебе ещё более серьёзно отвечаю: мне помог ирландский сеттер.

Среди ящиков и бочек ахтер-люка только я один слушал баритональный голос Псалтырёва, повествующего о новых ступенях своей жизни.

Вздумал я однажды прогуляться по городу, подышать свежим воздухом. Хожу, присматриваюсь к народу. Между штатскими людьми и солдатами мелькают синие воротники матросов. У меня возникает вопрос: куда они все идут, о чём думают? А ведь в каждой голове какие-то свои мысли, свои планы, свои желания. Вот бы все эти мысли и желания узнать и на бумаге изложить. Получилась бы книга, какой ещё не было на всём свете. Прохожу мимо парка, куда нашему брату, матросу, вход воспрещён. Рядом со мною шагает по тротуару пожилая женщина с четырёхлетним мальчиком. Она, видать, — няня, а он — господский сынок. Очень статный ребёнок. И так ему подходит морская форма, что я залюбовался им. И вот у самого входа в парк, откуда ни возьмись, появляется ирландский сеттер — громадный, огненной окраски, уши длинные, хвост опущен. Первое, что мне показалось подозрительным, — это слюнявая пасть и мутные глаза. У меня сразу же мелькнула мысль: бешеный пёс. И действительно, оказалось так. Как известно, собаки этой породы редко бывают злые. К людям они относятся мирно, даже ласково. Больше всего интересуется их охота на птицу. А этот пёс ни с того ни с сего вдруг на-

бросился на матроса и схватил его за ногу. Э, думаю, опасность угрожает и другим людям, надо действовать. Я моментально выломал из ограды большой кусок штакетника. Хорошо, что я успел это сделать во-время. Пёс от матроса кинулся к няне. Но в этот момент я находился рядом с ней. Налёт бешеного зверя так перепугал её, что она вскрикнула, замахала руками и беспомощно опустилась на тротуар. Ребёнок прижался к ней и заорал истошным голосом. Я преградил ирландцу дорогу. Он хотел меня цапнуть, но я, изловчившись, так удачно ударил его по передним ногам, что он полетел кубарем. Должно быть, я переломал ему обе ноги, — он не мог больше подняться. На всякий случай я нанёс ему несколько ударов и по голове. Он перестал двигаться и захрипел перед смертью. Я оставил его и подошёл к няне. Бледная и дрожащая, она хотела что-то сказать и не могла. Мальчик продолжал надрываться от плача. Я поднял няню, и только после этого она заговорила:

— Ноги мои не идут. Матросик, проводи меня домой. Барин мой заплатит тебе за это.

Одной рукой я подхватил ребёнка, а другой помогал няне. Не прошли мы и нескольких шагов, как подвернулся извозчик. Уселись все трое на повозку, а спустя минут десять мы уже были в богатой квартире.

И началось тут что-то несусветное. Мальчик к этому времени начал было успокаиваться и только всхлипывал. Но барыня, женщина лет тридцати, смуглая, как цыганка, взглянула на него, а потом на испуганную няню и остолбенела.

— Что случилось? — упавшим голосом спросила она.

Я только и успел сказать:

— Бешеная собака...

Дальше она уже ничего не слушала. Завопила,

запричитала, что теперь её Славчик может погибнуть. А он, глядя на мать, тоже разревелся. Слезы застилают ей глаза, и не видит она, что её сын невредим. То она в отчаянии за голову хватается, то начинает целовать ребенка. Голубой капот у неё распахнулся, видна белая, как снег, шёлковая сорочка, полные груди вываливаются наружу. Она не замечает этого. Я всё порываюсь сказать ей, что бешеная собака не успела даже дотронуться до её сына. Все мои слова проходят мимо неё. И уйти мне не позволяет. Вдруг она спохватилась и давай названивать по телефону:

— Витя, приезжай немедленно... Бешеная собака... Ребёнок испуган... Ужас... Голова кругом идёт...

Потом начинает по телефону доктора вызывать.

Опять выкрики, вопль.

Через несколько минут прибыл капитан второго ранга. Как тут же выяснилось, это и был Витя, её муж; человек высокий, представительный. Я вытянулся, руки держу по швам и, как полагается на военной службе, пожираю его породистое лицо глазами. Белёные густые усы у него подстрижены коротко и ровно, как щетина на зубочистке. Он быстро окидывает всех нас внимательным взглядом и спокойно спрашивает:

— Какая тут у вас трагедия произошла?

Она с воплями бросается к нему:

— Почему доктор так долго не едет?... Боже мой!.. Ведь Славчик может с ума сойти...

Он мягко отстраняет её и вежливо, но в то же время твёрдо говорит:

— Перестань, Серафима, волноваться. Сейчас разберёмся.

Его слова так подействовали на барыню, как будто её разбудили от кошмарного сна, и она сразу образумилась.

Барин берёт своего сына на руки, наскоро оглядывает его и определяет — ничего страшного не произошло. Мальчик при отце моментально замолк. Барин бросает жене вроде выговора:

— Всегда ты, Серафима, поддаёшься панике раньше времени. Оказывается, напрасно подняла тревогу.

Он обратился с расспросами ко мне. Я подробно объяснил ему, как всё произошло. Няня подтвердила мои слова. Он выслушал и сказал:

— Ну, любезный, спасибо тебе. Я не знаю, как и отблагодарить тебя.

И даёт мне две двадцатипятирублёвых бумажки.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие. Но только денег мне не надо.

Офицер удивлённо приподнял желтоватые брови.

— Как? От денег отказываешься? Может быть, у тебя родители богатые?

Я на момент растерялся. Очень был удобный случай испытать своё счастье, но в то же время соображаю: а вдруг он рассердится и прогонит меня? Кровь обожгла моё лицо. Я заговорил дрожащим голосом:

— Никак нет, ваше высокоблагородие, родители мои бедные. Но всё равно — деньги меня мало интересуют. На военной службе поят, кормят, одевают, и квартира бесплатная. А если уж вы так добры ко мне, то помогите мне в одном деле.

— В каком?

— Хочу попасть в школу строевых квартирмейстеров.

Тут же я рассказал ему, как я люблю морское дело и как боцман Кудинов обучал меня разным корабельным премудростям.

— Это, любезный, сделать легче всего, — говорит он и улыбается. — Я как раз служу старшим офицером на учебном парусно-паровом крей-

сере «Герцог Ольденбургский». Пойдёшь со мною в плавание на практику.

Деньги он всё-таки навязал мне и ещё угостил хорошим обедом с выпивкой. И жена его так ласково обращалась со мною, как будто я был её родным братом. А тут ещё Славчик подогрел любовь ко мне у своих родителей. Он так забавно изображал, как я разделался с ирландским сеттером, что они смеялись до слёз. Я тоже чувствовал себя вроде именинника.

Через два дня я уже был на учебном крейсере.

Целый год мы пробыли в плавании. На этот раз долго бороздили Атлантический океан. Побывали на острове Мадера, на Азорских островах. Столько нового я в жизни повидал, что не рассказать об этом за целый день.

Когда я плавал на броненосце, мне много удалось усвоить из того, что нужно знать строевым квартирмейстерам. Я на всю жизнь остаюсь благодарным боцману Кудинову. Через него узнал различные тросы, как и в каких случаях они употребляются и как их нужно хранить. Я умел сплеснивать тросы, накладывать на них трени, бензели и найтовы. Все морские узлы мне тоже были известны: прямой, рифовый, простой штык, полущтык, двойной штык, удавка, удавка со шлагом, выблечный, гаечный, шкотовый, брамшкотовый, сваечный, стопорный и много других узлов. Знаком я был и с блоками: толстоходный, тонкоходный, комель-блок, гитов-блок, анапуть-блок, лотлинь-блок, канифас-блок. Словом, на броненосце с этими предметами я уже разобрался, как с упряжью у себя на дворе. И это мне пригодилось, когда я попал на учебное рангоутное судно. Но пришлось ещё очень усиленно заниматься, чтобы освоить всё на новом корабле. Это обилие парусов и разных снастей сначала меня просто по-

давяло. Попробуй-ка запомнить одни названия: грот-гитовы, брам-гитовы, кливер-ниралы, бом-брамсели, брам-шкоты, марса-фалы, марса-бык-гордены, лисель-спирты, лисель-штерты, фор-бом-брасы, брам-эзельгофты, бугеля, сезни. Таких названий сотни. При этом нужно знать, для чего служит каждая снасть и как ею пользоваться. Взаялся я за учёбу с настойчивостью муравья и всё преодолел, точно через высокую и крутую скалу перелез.

Таким учебным судном должен был бы командовать энергичный и подвижной человек. А нас возглавлял совсем одряхлевший капитан первого ранга. Лицо у командира сморщилось, толстый нос покрылся сизыми прожилками, постоянно слезящиеся глаза помутнели, словно покрылись клейстером. Как только он ими видит? Меня удивляла его привычка: через каждую минуту он дёргал сивой головой, как будто хотел вытряхнуть из неё назойливые и неприятные мысли... Ведь он казался мне таким хилым, что напоминал, трухлявую берёзу в лесу, которая держится только на своей коре, — чуть толкни её, и она развалится. Словом, от него уже пахло землёй. А всё-таки он храбрился и старался показать себя молодым. И смешно было слушать, как такой человек рассердится на какого-нибудь матроса и начинает ему угрожать:

— Я тебе за это такого тумака дам, что голова слетит с твоих плеч, как рукомойник.

Вообще командир любил выражаться по-народному. Иногда наказывал матросу:

— Ты мне так сделай это дело, чтобы тело не потело и голова не болела.

Однажды, глядя на него, я подумал: хорошо, что старость подходит к людям незаметно, как ночной тать, и похищает их силу понемножку, но зато изо дня в день, из часа в час. А если бы человек в какое-нибудь утро проснулся и увидел

себя в зеркале, что в одну ночь он стал таким ветхим и сморщенным, как наш командир, что было бы с ним? От ужаса он, вероятно, сошёл бы с ума.

Впрочем, наш старик оказался неплохим марсофлотцем, но пережитые годы сказывались на нём — силами ослаб, как обветшалый парус, и память стал терять. Поэтому за него всеми делами ворочал старший офицер, Виталий Аркадьевич. Про него можно сказать — морской орёл! За время плавания я ни разу не видел его пьяным. Освободится от судовых занятий — сейчас же садится за книги. И провинившегося матроса и отлучившегося, наказать ли кого хочет или наградить, — каждого называет любезным. Но лично мне он нравится. Не только кто из команды, но и офицер у него не забалуется. Очень требовательный по службе и любит точность. Отдаст какое-нибудь приказание спокойно, но так ясно, словно отрубил слова. И тут уж нельзя не выполнить его распоряжения. А как начнёт во время парусного учения командовать — радость охватывает душу. Голос у него звучит, как сирена, и слышен по всему судну, на всех мачтах и реях. Это подхлестывает нашего брата, как бичом. Бегом взбираешься по вантам, а потом на высоте пятиэтажного дома, возбуждённый до того, что, кажется, кровь в жилах кипит, работаешь и не думаешь, что можешь сорваться с мачты и превратиться в лепёшку. Лишь одно у тебя на уме — скорее и лучше выполнить свои обязанности. Но зато можно было гордиться, что на нашем крейсере всё идёт так великолепно, как хорошо налаженный оркестр, — ни одной фальшивой ноты.

Ко мне старший офицер относился душевно. Если вздумает на берег отправиться, то я у него всегда был загребным на вельботе. Иногда, посмеиваясь, он подбадривал меня:

— Вижу, любезный, что из тебя выйдет лхой капрал.

Ну, и я старался служить на совесть. И только однажды проштрафился. Попалась мне книга Достоевского «Преступление и наказание». Устроился я в плотницком отделении и увлекся чтением. Даже забыл, что нахожусь на военном корабле. А он в это время, немного накренившись, шёл по волнам Атлантики. Налетел шквал. Была команда все наверх рифы брать. По расписанию в таких случаях я должен находиться на грот-бом-брам-рее. Но я ничего не замечал и ничего не слышал. Я настолько был потрясён содержанием романа, как будто по моей голове проехали бороной. Ведь вот до какого состояния довёл меня этот писатель. Спасибо дежурному матросу по палубе: он толкнул меня и сказал:

— А для тебя особая команда, что ли, будет?

Я спохватился и, как птица, вылетел на верхнюю палубу. Но старшему офицеру уже стало известно, что я на две минуты опоздал. После того как рифы у парусов были взяты, он призвал меня к себе в каюту.

— Почему ты, любезный, не являешься вовремя по команде?

Я хотел соврать ему, но он посмотрел прямо в мои глаза таким дружественным взглядом, что сказал всю правду. И сам не знаю, как это у меня с языка сорвалось. Сказал и напугался. Ну, думаю, пропало всё. А тут слышу и ушам своим не верю:

— Что ты читаешь Достоевского — это похвально. Но обязанности свои не должен забывать ни при каких обстоятельствах. Если бы даже океан перевернулся вверх дном, ты всё равно по команде должен находиться на своём месте. Пойдешь, любезный, в карцер на четверо суток.

Я тебе много обязан за спасение моего Славчика, но долг службы и военная дисциплина — это главное. Соверши на судне какой-нибудь проступок мой собственный сын — я бы и его подверг наказанию. Понятно тебе всё это?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Можешь итти, любезный!

Вот это, думаю, настоящий начальник. Молодчина! Побольше бы таких офицеров на флоте. Если бы он посадил меня на две недели, я бы нисколько не обиделся на него.

Больше никаких недоразумений у меня не было. На экзамене на все вопросы я отбарабанил без единой запинки. А теперь хожу с двумя лычками на каждом плече.

Слава богу, что ирландский сеттер сбесился. Сам погиб, но мне счастье принёс. Иначе я никак не смог бы попасть на учебное судно.

Остаётся мне дослужиться до звания боцман-мата, а может быть, и до боцмана.

Эх, нет у меня возможности проникнуть в Морской кадетский корпус! Либо разум свихнул бы себе, либо превзошёл бы все науки. Но туда для нашего брата двери закрыты. Может быть, когда-нибудь откроются.

Мне хотелось ещё посидеть и поговорить с Псалтырёвым. Каждая встреча с ним была для меня большой радостью. Я люблю таких людей, как он, — они тянутся к знанию, словно растение к солнцу. Их становится всё больше и больше, этих будущих творцов жизни, поднимающихся из гущи народной. Как древние воины для овладения крепостью таранами пробивали каменные стены, так и они своей кипучей энергией и невероятной настойчивостью преодолевают все преграды на своём пути, чтобы достигнуть намеченной цели. Но, как ни интересно было беседовать с Псалты-

рёвым, неотложные служебные дела вынуждали меня расстаться с ним.

Выходя из ахтер-люка, мы вспомнили о покойном капитане первого ранга Лезвине.

Я спросил:

— А знаешь ли ты, что твой бывший барин произведен в контр-адмиралы?

— Да что ты? Когда? — спохватился Захар.

— Я сам читал высочайший приказ. Он был получен на второй день после смерти Лезвина.

— Это хорошо. Значит, за него замолвил слово бывший начальник эскадры, контр-адмирал Железнов. Тесть-то мой оказался справедливый человек.

Псалтырёв так обрадовался, точно он сам был произведён в высший чин.

Мы вышли на верхнюю палубу. С разрешения вахтенного начальника ялик пристал к левому трапу. Я крепко расцеловался с другом. Он быстро спустился по ступенькам трапа и, уловив момент, уверенно прыгнул на качающийся ялик. Волна подхватила отважного моряка и, окропив сверкающими брызгами, понесла его в сторону военной гавани.

Я не знал тогда, что расстанюсь со своим другом на долгие годы. Шли войны и революции. Смерчем проносились события, изменявшие не только людей, но, казалось, и самый облик земли. Как весенние потоки, бурля, несутся к морским просторам, так и народ из городских окраин и глухих деревень, волнуясь, рвался к свободе, к иной жизни, достойной своего духовного величия. В эти годы я не раз вспоминал Псалтырёва, расспрашивал о нём у других, но никто не мог дать мне ответа. И всё же я не терял надежды, что когда-нибудь мне удастся с ним встретиться.

10002

1976